Андрей Белый

"ОДНА ИЗ ОБИТЕЛЕЙ ЦАРСТВА ТЕНЕЙ"



Andrey Bely

IN THE KINGDOM OF SHADOWS

First published in Russia 1924
This edition first published 1971

Reprinted in Great Britain by
The Scolar Press Limited, 20 Main Street, Menston,
Ilkley, Yorks., England

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

«ОДНА ИЗ ОБИТЕЛЕЙ ЦАРСТВА ТЕНЕЙ»



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАД
1924



Гиз. № 6988. Ленинградский Гублит № 7224. 4⁵/₈ л. Отп. 5.000 экз.

«ОДНА ИЗ ОБИТЕЛЕЙ ЦАРСТВА ТЕНЕЙ»

НЕСКОЛЬКО ПОЯСНИТЕЛЬНЫХ СЛОВ.

Мне очень трудно делиться своим впечатлением о пребывании в Германии, — вот почему: Я всю жизнь называл себя западником; неоднократно писал я о скудости славянофильства; явления так называемого «русского духа» мне были враждебны; я чужд был всех привкусов национального самодовольства; переживания пресловутого настроения «русские шапками-де закидают Европу» — претили мне; между тем: вывод моих впечатлений от кусочка Европы теперешних дней и сравнение этого кусочка с Россией, боюсь я, для многих покажется самодовольством таким; мое двухлетнее пребывание в Берлине окрашено теневыми какими-то настроениями; и сравнение их с настроением от работы и жизни в России 18 — 21 годов вызывает сравнение тени и света. Да, светом окрашено мое пребыванье в Москве, в Ленинграде недавней эпохи. А пребыванье в Берлине окрашено тенью.

Я оговариваюсь: я говорю не о трудных условиях жизни в холодных, в голодных, в разбитых квартирах, не о явлениях несения ежедневных тягот, а о чем-то другом; среди голода, холода, тифа, неосвещенных Москвы, Ленинграда я чувствовал свет: свет победы

сознания, расширенного и парящего над телом, природой животного; многие грелись проблемами судьб человечества, зажигая вселенские мысли в своей голове, затепляя вселенские чувства в сердцах; и — в руке конденсируя волю; и — вспыхивал свет просветляющий, нам освещая, осмысливая кризисы жизни; и сдвиг сознания высекал нечто новое.

Не раз видел я в освещенных, роскошно обставленных ресторанах Берлина грустнейшее угасание сознания, перегруженного благополучием косности и разбивающегося при выходе из ресторана на улицу, посылающую буржуа свои грозные тени; чувствовал я на себе угашение света, который светил мне в России; меня обступали явления парализованного сознания, суженного и падающего в объятия животной природы; тогда весь Берлин выступал предо мною «о б и т е л ь ю ц а р с т в а п р и з р а к о в».

Кроме того: каждый знает из вас то явление, которое психофизиологи вместе с Вундтом пытаются охарактеризовать, как явление аналогии ощущений, когда звук переживается ярко, определенно окрашенным, или цвет предстает, как звучащий; как часто мы все, попадая впервые в еще незнакомый нам город, подыскивая характеристику города, прикрепляем ее к одной малой, типичной черте, превращающейся в лейт-мотив, сопровождающий всюду нас, когда, например, выступает один яркий цвет из градаций многих цветов; и с ним связывается внутреннее восприятие — города, страны, класса; в том смысле могу говорить об окраске страны или города: так, когда-то мне Мюнхен возник голубым; так Тунис мне стоит снежно-белым; определенно коричневым возникает Каир; и возникает Берлин серобурым, с коричнево-серыми и зловещими полутенями атмосферы, его обволакивающей; эта последняя рисовалась мне фоном картины, изображающей царство

теней древних греков, или мрачной обителью подземного мира Египта, где строгий Озирис чинил над усопшими страшный свой суд.

Этою атмосферой окрашен Берлин.

Он, весною отвеяв зеленым листом, нестерпимо жареет ужасною, бурою копотью летом, и серая буроватая мгла повисает над ним осенями и зимами; шлепают под ногами такие же бурые, мокрые от дождя тротуары; и справа и слева уходят в томительно бурые ряды зданий десятков безвкуснейших ш т р а с с е, перечисляющих имена Гогенцоллернов, Габсбургов и Гогенштауфенов, — не параллельно бегущих, а образующих те же звезды пересечений, где в центре пересеченья увидите тощенький скверик с сидящей все той же старушкой, с той же собачкой, сидящей перед нею и задирающей нос на безвкуснейший монумент, напоминающий груду тяжелой посуды; на всех углах улиц — кафэ, рестораны и д и л э, и непременная надпись пивной, прославляющей вывеску фирмы; здесь — Patzenhofer, там — Schultheis, Berliner, Kinde и так далее (так на одной только Victoria-Luisen Platz насчитал до 13 заведений подобного типа); и все это — в бурой, тоскливейшей дымке; и бурые, скучные, пресные бюргеры спешно бегут в буроватых пальто вдоль тех улиц, вдоль скверов, вдоль площади и проваливаются в дыру, зияющую посредине, чтобы выскочить где-нибудь (может быть в отдаленном квартале) из точно такой же дыры; и увидеть опять-таки постамент, сквер, старушку перед ним, ее пса; и нестись вдоль такого же буроватого, пренелепого ряда домов в буроватой томительной мгле, под буреющим небом, над бурым асфальтом.

Мне помнится, — кто-то назвал небо этого города нежно-сиреневым: может быть, этот оттенок бывает. Не знаю: не видел.

На лицах — растерянность а в глазах суетливое недоуменье испуга, досады; досада на — настоящее; и испуг перед будущим; марка — упала опять; коммунисты шевелятся здесь; Людендорф — угрожает оттуда; нельзя не сознаться: советская власть импонирует; и — хорошо, что Мальцон там кого-то с Востока встречает; однако: быть может, — Пуанкарэ завтра, может быть, сменит на милость свой гнев; а может быть, — выручит Англия. Так меж «постольку, поскольку», недоуменно, испуганно ерзают глазки бегущих берлинских мещан по безвкуснейшим августейшим проспектам и улицам: Кайзер Аллэ, Бисмаркштрассе, Гогенцоллернплац, Гогенштауфенштрассе, Вильгельмштрассе и Фридрихштрассе. А у меняльных киосков — хвосты; то ауслендеры [1]).

О, ужаснейший, серый и гаснущий город.

И кажется: эти бегущие буржуа среди мороков суетливейшей и бессмысленной жизни заспали свой собственный свет; и вот уличная суета, регулируемая образцовою палочкою зеленого полицейского, перелетанье трамваев, стоянье авто (кто же может на них теперь ездить), кричанье газетчиков «Бе — Цетт, Моргенпост», — регулируемая в образцовом порядке текущая бестолочь бреда; и кажется: жизнь, охватившая вас, в ряде месяцев огранизованно опускается вместе с бурыми зданиями, небом над ним, тротуаром, трамваем, — на дно, под глухое гуденье фокстроттов, под дикие звуки Джазбанда [2]), крикливо летящие из ближайшей кофейной плусульни.

И вы начинаете вопреки всем протестам сознания и мировым мыслям, живущим в вас, стаскиваться организацией и порядком в то темное дно.

---

[1]) Иностранцы.
[2]) Особый набор из барабанов, колоколец и дощечек.

И тут для меня возникают вопросы: неужели же прямые наследники великой немецкой культуры — ее музыки, поэзии, мысли, науки — теперь отложилися от нее, одушевляемы не зовами Фихте, Гегеля, Гёте. Бетховена, а призывом фокстротта. И неужели зовет человечество вовсе не свет из грядущего, а далекое дикое прошлое в образе и подобии негритянского барабана; и мне, очень долго воспитывавшемуся на традициях культуры Германии, за эти месяцы пребывания в Германии приходилось не раз с недоумением утверждать, что великой культуры как будто и нет в проявлениях жизни предо мной мелькавшего немца, и что нам, русским, в данном случае новому слову культуры в Германии невозможно учиться, а остается заимствовать приобретения ее недавнего прошлого: технику и науку.

Мне трудно касаться и умственного кругозора тех множества русских, печальнейше погруженных во мрак буро-серого города, печально месящих бурду изжитого, умершего прошлого, за пять лет не создавших ни в сфере искусства, ни в сфере искания мысли ничего оригинального, утверждающих буро-серое политиканство, зачитывающихся страницами буро-серых романов Краснова, провозглашающих поэзию Саши Черного национальной поэзией.

Да, эмигрантов я видел; со многими я общался в беседах; средь них, ну, конечно, есть всякие люди, как понимающие бесплодицу «эмигрантщины», так и вовсе не понимающие ее; не хочу нападать на людей; не хочу говорить об эмигрантах, касаясь эмиграции. Заграницей писал положительно я о творимой культуре в Советской России, с максимальною резкостью я высказывался о культуре «берлинской» России — в Берлине; и потому-то в Москве мне не хочется останавливаться на явлениях угашения твор-

ческих импульсов среди русских Берлина, где все новое, свежее создано только выходцами из Ленинграда, Москвы, то-есть временными гостями Германии.

Я пройду мимо личностей и постараюсь провести перед вами свой «миф», или сказ о Берлине: сожму в фигуральные образы эту обитель тяжелого «царства теней».

О ТОМ, КАК «НЕКТО» ПОПАЛ В БЕРЛИН

О ТОМ, КАК «НЕКТО» ПОПАЛ В БЕРЛИН.

Я буду говорить о «некто»: nomina sunt odiosa.

«Некто» не бежал из Советской России; заграницей у «некто» были неотложные, жизненные дела; «некто» с трудом выбрался из России; у «некто» не было готовой немецкой визы; он собирался получить ее в Риге.

«Некто» наслышался о сытой довольной жизни в счастливой Латвии; «некто» попал в Ригу; и — нисколько не обрадовался Риге: в воздухе стояла гнилая серость октябрьской слякоти, а в воде отражался свинцовый туман; за твердые же предметы нахальнейше драли с подозрительного русского, узнавая мгновенно по внешнему виду (потрепанной шапке и странного вида пальто) носителя «большевистской» отравы. Унылый мотив Саца из «Ж и з н и ч е л о в е к а» явственно звучал «некто» в атмосфере столицы великолатвийской державы; и «н е к т о в с е р о м» встретил «некто» в виде скучнейшего и пошлейшего серого листка, издаваемого русскими эмигрантами.

Горделивые латвийские граждане, отличающиеся полностью и удельным весом своих животов и носов, в этот единственный день пребывания «некто» в Риге неоднократно счастливили «некто» своим снисходитель-

ным указанием на то, что все, что «некто» и видит, и слышит — богато и пышно, а «некто» казалось, что все, обстающее «некто», — убого и пресно; тяжело становилось в обстании пресной безвкусицы, сопровождающей выскочек; вместо торжественной пышности эта безвкусица расстилала перед взорами «некто» лишь бедно одетых картузников, объясняющихся по-русски друг с другом и озираемых оком случайного животастого выскочки, пересекающего бедноту с чванным видом, напоминающим стремление лягушки сравняться с волом. «Некто» думал в тот день: где осмысленность русского взгляда, к которому так он привык? На разбитых, холодных проспектах Москвы, Ленинграда в сравнении с Ригой блуждает какая-то «рвань»; но у «р в а н и» живые глаза, острость взгляда, свидетельствующая об упорности идейного устремления; «некто» привык, что прохожие уличные имеют глаза. Оттого-то отсутствие «глаз» у почтенных мещан, пересекающих почтенные улицы великолатвийской столицы, смутило его: «Где глаза?» — думал он. Вместо глаз — только дырки с .... отсутствием одушевленного взгляда. Отсутствие глаз у прохожих культурных латвийцев пугало его: да, «глаза» поисчезли; но появилось вместо «глаз» и надглазие, и подглазие в виде черного котелка и приличного вида пальто, обрамляющих безглазое, обнаженное средоточье одежды, обычно имеющего в Ленинграде, в Москве именование «лица»; но «лица»-то у граждан латвийских и не было: «личность» отчетливо провалилась в одежду.

Тут «некто» взгрустнулось; он вспомнил: недавно еще он присутствовал на многолюдном собрании, где «р в а н ь» заполняла огромную аудиторию, где раздавались утонченные рассуждения о «С к и ф а х» и о «Д в е н а д ц а т и» Блока; он вспомнил, как «р в а н ь» провожала его проникновенным сердечнейшим словом; он

вспомнил, как юноша вовсе ему незнакомый, одетый в такую же «р в а н ь», как и все, говорил ему: «Слушайте, «некто»: когда вы останетесь там, заграницей, один, когда станет вам грустно и страшно, то вспомните, что мы любим вас, что мы помним вас; и, наверное, станет вам легче». Так «некто» в высокоторжественный день своего водворения в сытой, прилично одетой латвийской столице, с отчетливой грустью припоминал сердцу милую «р в а н ь», не имеющую, правда, пары латвийских ботинок и заменяющих эту пару — horrible dictu — чудеснейшими, осмысленными и подлежащими латвийской цензуре глазами.

И отчего-то припомнился маленький городишка, Карачев, где «некто» провел в девятнадцатом году весь июнь и июль. Кругом царствовал тиф; пыль летала по улицам; под ногами блистали в огромнейшем изобилии осколки стекла; надвигался Деникин; эвакуировали весь юг; через Карачев стремительно дефилировали эвакуируемые учреждения; между тем: жизнь кипела; плакаты, собрания, митинги (и коммунистов, и анархистов); организовались спешно кружки; и — собиралась прекрасная библиотека; в отделении «М у з о» Наркомпроса преподавалась Эвритмия для резвой сознательной детворы; и под звуки Шопена и Шумана развивалась культура движения. Помнится, — в это лето для «некто» вставало сомнение: правда ли, что в провинции он? Неужели в провинции исчезает «провинция»? Здесь же, в латвийской столице, средь безчистых, красивых, тишайших домов, водворилась безглазая провинциальная скука; и мысль, что здесь «некто» засядет с неделю, его угнетала; стояло в душе: «И скучища же в этой Риге!..»

А в Риге тогда не любили Советскую Россию; и в Риге тогда не любили Германию; все же, что выступало пред взорами «некто», — все было: вчераш-

ней Россией, вчерашней Германией, наскоро закрашенной «охрой» латвийского величия; так, — «некто» видел: наскоро закрашенные вагоны, отобранные у Советской России; и — незакрашенные немецкие кирки (с подлинной Латвией, Латвией художников, он познакомился после, — не в Риге: в Берлине!).

Весь первый день счастливого переезда в счастливую «заграницу» окрашен для «некто» острейшей тоской по Советской России; и «некто» поймал себя вдруг на том, что вполне бессознательно он насвистывает современную русскую песню:

И, как один, умрем —
В борьбе за это!

И — тут оборвал себя: за «*дело это*», за свист, — попадешь еще «в дело»!

Тут с радостью «некто» стал думать об отдыхе; и, вернувшись в сырую дыру, именуемую «отельною комнатой», за которую в сутки так драли и от которой при всей своей скромности он не был в восторге, — вернувшись в «дыру», он мечтал о покое; просил он затеплить огонь; и хотел было протянуть на диване усталые ноги, — вдруг стук... — «Что такое?» — «Пожалуйте в комендатуру». — «Зачем?» — «Разберут там, зачем». Делать нечего! Комендатура же оказалась поблизости. Великолепнейший офицер, изъяснявшийся великолепно по-русски, старательно просмотрел документы; и, скашивая свой разгневанный глаз на кровавого цвета обложку советского паспорта, он объявил: «Не имеете права ночлега вы в Риге: у вас лишь проездная виза; вам остается лишь два часа до отбытия поезда».

И «некто», вернувшись в гостиницу, стал собираться к отъезду. Хозяин гостиницы неоднократно стучался, напоминая, что срок истекает и что пора

выбраться: приставленный к входу в гостиницу полицейский уже ожидает; и «некто», схватив чемоданы и громко ругаяся, стал отправляться, сопровождаемый величием презрительного взгляда безглазого мэтр д'отеля и неподдельным сочувствием номерного служителя, выволакивавшего его чемоданы; служитель сказал: «И это называется демократической страной!»

Выходя из гостиницы, «некто» увидел величественную картину, воистину подымавшую дух: великолепного, с ног до головы вооруженного, великолатвийского полицейского, стража порога, порога, за которым пытался обитать «некто»; «некто» бросил ему со злостью: «Так-то в Риге встречают русских писателей?» И — представьте: великолепнейшее существо не расстреляло «некто» величием взгляда, а скромно стрельнуло глазами в свои лакированные сапоги, стыдливо повесив над ними свой нос, говорящий красноречиво: «Не я, а — они!» И — тут стало ясно: «О н и» суть безглазые граждане города Риги; печальные размышления «некто» над чистенькими котелками, доставшимися им в обмен на лицо, были подлинными причинами высылки «некто» из города Риги.

И «некто», с приподнятым носом, отбыл на вокзал, — сел в купэ; и — понесся стремительно из пределов великолатвийской державы в Литву, где он тотчас же превратился из «некто» в почтенного «н е к т а с а»: все литовцы суть «— асы» или «— исы»: И в а н о в а с, П е т р о в а с, С е м е н о в а с: «некто», став «нектасом», был смущен своим собственным дательным падежом, превращающим его в «н е к т у и». И в а н у и И в а н о в и ч у и И в а н о в у и — несколько тяжеловато, признайтесь! Так «— уи» свое он проставил на просьбе о праве ему проживать в славном городе Ковно до получения разрешения на въезд в Германию: это «— *у́и*» сопровождало его в его ковенских днях;

и смутили грязнейшие «бутасы» города Ковно (именование улиц).

Литовцы к нему повернулись весьма симпатично; великолепных жандармов к нему не приставили; но первые дни ощущалась одна неприятность: не говоря уже о комнате, невозможно было даже найти просто угла, где склонить свою голову! Первая ночь встретила «некто» грязненькою столовой какой-то корчмы, где устроили нечто подобное ложу ему вместе с рядом таких же, как он, несчастливцев: «Подумайте», объясняли литовцы ему, «ведь все Ковно рассчитано maximum — на 35 тысяч: теперь же здесь minimum проживает тысяч двести»... С первого дня пребывания в Ковно пред «некто» предстали знакомые: москвичи, петербуржцы, — один, десять, двадцать; и — далее... Все оказалися в Ковно! Все стали «оптантами»! Можно было подумать: с момента возникновения литовского государства часть истинно-русских людей (уроженцев Москвы, Ленинграда), себя осознали литовскими подданными.

В Литве неожиданно вдруг открылось для «некто», что и Кант был литовцем, и что назначена премия государством тому, кто докажет литовское происхождение Канта при помощи осязательных данных; и стало вскрываться предположение: может быть сам великий Коперник, — совсем не поляк, а литовец (подобно Мицкевичу); а за этим вскрывалась туманная перспектива когда-нибудь выяснить, что Хопи́н (иль Шопен), — не Хопи́н, а Хопи́нас (литовец), подобно Ивану Ивановичу, петербургскому обывателю, ставшему в Ковно матерым литовцем: «Подумайте, — *Иванас Ивановичас!*

Так как этого же нельзя было сказать про великого Пушкина (негритянское происхождение последнего от Литвы отрезало его), то и улица Пушкина

в Ковно исчезла с лица земли; в славном же столичном театре (старинненьком, деревянненьком зданьице — человек так на двести) на занавесе оказалась заплата (было вырезано, вероятно, изображение какого-то из деятелей русской сцены, — конечно, на время: впредь до подачи прошения оным из царства теней о получении им литовского гражданства); та заплата смущала самосознание «нектаса» на представлении «Гедды Габлер», шедшей на древне-литовском наречии и уносящей творение Генрика Ибсена в глуби санскритской фонетики (как известно: в литовском наречии жив санскрит в наши дни).

И такие же точно заплаты, вернее — чехлы, представляли собою иные литовские деятели, с которыми познакомился «нектас»; встречался литовец. — какой-нибудь «— ас», или «— ис» — это только чехол; а под ним укрывался «безасный: Иванов, Петров, Соловьев — из Москвы, Ленинграда, Саратова; так пребывание в Ковно для «нектаса-некто» явилось практическим семинарием по изучению Овидиевых «Метаморфоз».

«Нектаса» пригласили на вечер литовских писателей, устроенный обществом литовских деятелей искусства, возглавляемых писателями и поэтами Киршей и Гиро (ведь вот: коренные литовцы по воле судьбы оказалися с именами без истинно-литовского окончания); на вечере обращались к «нектасу» с приветственным словом, которого «нектас» не понял, не будучи посвящен в тайну речи; выслушивая любезное слово, подумывал «нектас»: «А, чорт возьми, — кто докажет, что ты не ругаем: сиди, улыбайся на предполагаемое приветствие; а неизвестно, что вложено в слово, которое, может быть, — тоже заплата». Но — делать нечего: нельзя требовать знания русского языка от литовцев... Каково же было удивление «нектаса»,

когда после обильной закуски и выпивки снялся литовский чехол с русской речи; она раздалась за столом: перешли на русский язык; «—ас» и «—ис» отлетело; Овидиева Метаморфоза случилась; и обнаружились все такие знакомые лица, запевшие хором российские песни; и тот оказался вчерашним студентом из Ленинграда, а эта московской курсисткой, бывавшей на лекциях «нектаса».

Литовские деятели искусства оказались культурными интеллигентами: тот был представителем народнической тенденции; этот имел тяготение к «дадаизму», «экспрессионизму», пересаждая последнее слово немецкой поэзии в литовское слово; особенно «нектасу» помнится Бинкис — поэт и мыслитель, талантливо переживающий современность и осознавший огромность эпохи, как кризис всей жизни; запомнился почтеннейший Тумас, оппозиционно и лево настроенный по отношению к линии правительственного поведения.

Тут «нектасу» предложили остаться в Литве и выработать схему студии стиховедения по плану литературной студии московского Пролеткульта; но «нектас» стремился в Берлин. Тем не менее в Ковно он прожил томительный месяц, удерживаемый немцами, устраивавшими здесь заградительную заставу для тысячи евреев и русских, неделями, месяцами, полугодиями ожидающих благословенного мига: прохода в Германию; немецкое консульство вело себя по отношению к «нектасу» — прелюбезно; литературное имя «нектаса» немцам было известно; они говорили по-русски с ним; и — даже: его приглашали на чашку чая; и — даже: представители немецкой власти посещали его публичные лекции в Ковно, заходили в лекторскую и высказывали комплименты; а пускать — не пускали; искомая проездная виза в Германию повисала в туманнейшем воздухе; из Берлина пришло разрешение из Polizei-Präsidium'а и — тщетно; в консульстве объясняли, что нужна еще виза из «Auswärtiges-Amt»; и эта виза пришла; и — опять обнаружились трудности; эти трудности, как грибы вырастали, не в дальнем Берлине, а здесь, в этих маленьких, миленьких, ковенских комнатках немецкого консульства, где такие опрятные, чистые интеллигентные молодые люди затевали с «нектасом» разговоры о Достоевском, Рильке и графе Кайзерлинге, вместо скучнейших и прозаических разговоров о визе.

И «нектас» с повешенным носом из милого помещения шагал в сероблёдную муть орошаемых дождиком ковенских «бутасов», попадая из всех направлений на ту же все «Лайссвиц-Аллэ» (иль «Аллею Свободы»), куда изо всех направлений сыпалися вечером тысячи эмигрантов, оптантов, полуоптантов, и, так себе, евреев, литовцев и русских; все Ковно есть «Лайссвиц-Аллэ». Свернешь вправо — предместье; налево пойдешь, и — предместье опять; позабудешься, — в три минуты окажешься средь пустынных, осенних холмов, где нет Ковно, где галки летают и воют пространства; да, в Ковно одна только улица: Лайссвиц-Аллэ; и над Лайссвиц-Аллэ доминирует польская кофейня Перковского, расположенная коридором и называемая с горькой иронией «коридором», — тем польским, унылейшим коридором, которым прошли еще сколькие, и которым еще надлежало пройти всем, собравшимся в «коридоре» Перковского; это — место томящихся по Германии: неделями, месяцами; это место — чистилище, где смываются с душ прегрешения их жизни в Советской России; до этого места — опаснейший «большевик» ты; за коридором ты явственно начинаешь белеть; «польский коридор» есть проход в иной мир: в мир Европы; и слухи роились средь нас, чающих проезда в Германию: в «польском коридоре»

поляки высаживают обратно; и в «польском коридоре» вагоны пломбируют; так мысли о «польском коридоре» мрачили самосознание «нектаса» — в «польском коридоре» Перковского, где за столик подсаживались, увеличивающиеся, как лавина, знакомые «нектаса»; сколько прослушивал он здесь излияний и жалоб на Ковно от чающих движения в Германию; скольких впоследствии «нектас» встречал уж в Берлине — на Курфюрстендамме, на Тауэнцин - и Монштрассе: «А, здравствуйте... Помните?» — «Не узнаете: встречались мы в Ковне, в кофейне Перковского»... И вставала картина унылого высиживания в неизвестности — дней и недель у Перковского. И прибавлялось всегда: «Грустное было время». Да, грустное время переживал «нектас» в Ковно; Германия; Германия отступала в туман неизвестности, иль в чернильницу немецкого консула в Ковне; из этой чернильницы ведь должен был истечь росчерк пера на бумагу, тебе открывающую двери в Германию. Итак, тяга обратно в Советскую Россию уж чувствовалась у преддверья Европы. И поднималося возмущенье на то, что как только покажешь ты «красный свой паспорт» чиновнику консульства, так уже замечаешь, что нос его передергивает еле заметная судорога, точно нос сдерживает неудержимо щекочущий насморк, как будто из паспорта дует на нос тот сквозняк, образующий насморк; сквозняка иль «восточного ветра» боялись поляки в своем «коридоре» ужасно: и оттого-то вагоны литовские пломбировали они.

И потому-то заранее «нектас» решил, что себе избирает иной он маршрут на Берлин: через Кенигсберг—Свинемюнде—Штеттин.

Предварительно пред отправлением в Германию он посетил национальный литовский музей, или комнатку, составляющую несколько квадратных метров, поражающую голыми стенами и отсутствием мебели; в одном углу этой комнаты он увидел, как помнится, пару литовских крестов да несколько вышивок, а в другом углу кучечку друг к другу приставленных картин Чурланиса; «нектас» подумал, что, пожалуй, литовские национальные древности более обильно были представлены в дворянских квартирах Москвы, Ленинграда, традиционно перекрещенными мечами, щитами и шишаками, отсутствовавшими в национальном музее Литовской столицы; указывая на предлежащие ценности «нектасу», сопровождавшие его лица сказали, что некогда все это будет развешано и расставлено здесь, в помещении этом, и «нектас» подумал: «Не развесить ли нам в имеющиеся у нас две-три свободных минуты все эти сокровища и не приблизить ли этим высокоторжественную минуту национального праздника открытия велико-литовского Музея Культуры?»

Но мысли своей почему-то не высказал «нектас».

Он вскоре покинул Литву: предварительно он потерял надежду покинуть ее для Германии (и собираясь покинуть ее для Советской России), когда ему в консульстве категорически заявили, что обе визы его (из Auswärtiges-Amt и из Polizei-Präsidium Берлина) бесценны, пока за него не поручится кто-нибудь из известнейших граждан Литвы в том, что «нектас» через два ровно месяца снова вернется в Литву; так как этого «нектас» не собирался исполнить, то он, опустив грустно нос, удалился из консульства; консульство же известило его неофициальным путем, что им выдвинутое требование необходимо. Произошла грациознейшая игра в жмурки, когда он явился за получением визы в немецкое консульство, где все знали, что «нектас» поедет надолго в Берлин; тем не менее «нектас» был спрошен чиновником с весьма строгим видом, себе завязавшим глаза: — «Итак вы

возвращаетесь через два месяца в Ковно?» И «нектас» воззрившись в глазную повязку чиновника, отвечал: «Я вернусь скоро в Ковно». И с той поры в консульстве в продолжение двух почти лет продолжалась, вероятно, игра: игра в жмурки; чиновник из Ковно выкрикивал: «А где «нектас»?». И «нектас» с берлинского Victoria-Luisen Strasse откликался чиновнику в Ковно: «Ау, здесь я: в Ковно!» И, может быть, по сию пору этот чиновник взывает из Ковно: «Ау, где вы, «нектас»?». И «нектас» уже из Москвы — отвечает ему: «Ау, — в Ковно!».

После этого приглашения поиграть «нектас» был снабжен визой; так «н е к т а с» стал — «некто» опять, т.-е. «—ас» (принадлежность литовского бытия) вместе с «Л е й д и м а с», или правом на жительство, отвалились, как скоро вступил он на борт парохода в Пилау, везущего из Кенигсберга в Штеттин; в этом городе произошла обычнейшая для Литвы метаморфоза личности: и Кант из литовца стал немцем; «Хопин'ас» же, вероятно, в тот именно миг стал Шопеном опять; да, в Германии вещи всем возвращаются на места; и Чайковский, любимый в Германии, и Достоевский, читаемый всеми, считаются не немецкими, а истинно-русскими деятелями искусства.

Пароходик, везущий в Штеттин, воскресает в воспоминании «некто» приятнейшими молодыми людьми, принадлежащими к так называемым grüne Polizei, или социал-демократической полиции Пруссии (в то время заведующий берлинской полицией был независимый социалист), молодые, приятные полицейские на пароходе вели себя с подлинною независимостью, отдаваясь чарам Бахуса и отчасти Киприды; они поглощали в огромном количестве «ш н а п с ы» и тискали молоденьких представительниц пароходной администрации, приставленных к малым каютам; молодые

зеленые полицейские демократы явились за «некто» в буфет, и, увидев его с удовольствием поглощающим бутерброды, они обступили его, принимаясь добродушно покрикивать, протянув к нему пальцы: «Der russische Fresser!», что значит в буквальном переводе: «А, вот — русский «жрец» («fressen» — «жрать»)!»

Так в Германии стал неожиданно «некто» жрецом — не в священном, а лишь поедательном смысле; и «некто» весьма удивился тому, что обед полицейского вероятно равняется лишь $^1/_2$ тощего бутербродика, так что два целых бутербродика роскошь, магически превращающего русского обывателя в жреца, а действие его — в культ пищи.

Еще поразило одно обстоятельство: служащие у кают, щеголеватые и кокетливые горничные, отдавая каюты беспечным и состоятельным кенигсбергцам, о чем-то уславливались с ними; и — даже казалось: условие это сводилось к тому, что молоденькие кокетливые создания затворялись зачем-то на время в каютах с веселою кенигсбергскою молодежью, требовавшей этого затвора с таким независимым видом, с каким они требуют за столом ресторана обычного «п а п р и к а-ш н и т ц е л ь». «Некто» имел основательную неосторожность себе заказать, как и многие, на ночь кабину: и — только! Вообразите же его изумление: вечером дверь в кабине открылась; и появилась девица, весьма озабоченная тем обстоятельством, что «некто», себе заказавши кабину, не требует ничего дополнительного к кабине; узнавши, что «некто» доволен своим одиночеством, эта девица обмерила его недоумевающим взглядом, как будто бы говорившим: — «Ну, и чудак же? Для чего в таком случае вам к а б и н а? Не для того же, чтобы в ней проскучать одному?»

Так Берлин появился пред «некто» еще до Берлина во образе беззаботного зеленого полицейского, сытого

½ бутербродика и в образе розовой барышни, несущей полицейскую службу между каютами. Эти первые впечатления Германии оказались интродукцией к двухлетней берлинской жизни.

О ТОМ, КАК ХОРОШО В БЕРЛИНЕ.

«Некто» попал с вокзала в ту часть Берлина, которая русскими называется «Петерсбургом», а немцами «Шарлоттенградом»; здесь русскими предпринимателями во всевозможных кабарэ демонстрируется камаринская, сопровождаемая припевчиком «danke schön, bitte sehr», который к присутствующим обращает «такой-сякой камаринский мужик»; припевчик, наверное, означает «благодарю, не ожидал»; немцами здесь распеваются истинно-национальные немецкие песни: «Sonja», «Natascha» и «Annuschka». В первой, которую немцы особенно любят, проходит припев:

Sonja, Sonja, — deine schwarze Haaren
Küsse ich im Traume tausend Mal...
Kann dich nicht vergessen, wunderbahre
Blume aus der Wolga Thal.

Она открывается строчкою:

«Endlos, endlos dehnen sich die Steppen».

Во второй опять-таки поминается Wolga, что в переводе на истинно-шарлоттенградском наречии значит: «не Волга, а — Рейн».

В третьей же, в «blonde Annuschka» фигурирует все какой-то «Piotr Fiodorowitsch mit lange Bart». Этот «Piotr Fiodorowitsch mit lange Bart», очевидно, есть истинный обитатель Шарлоттенграда, бродящий рассеянно по Курфюрстендамму, в то время как «Annuschka», ставшая супругой его, исполняет свои ежедневные функции в русско-немецкой кофейне, которых так много, и отпускает вкуснейшую «Kuljebjaka» за кулебякою пришедшим немецким почтенным семействам.

В этой части Берлина встречаются вам все, кого не встречали вы годами, не говоря о знакомых; здесь «некто» встречал всю Москву и весь Питер недавнего времени, русский Париж, Прагу, даже Софию, Белград; право, думается мне, читатель, — и с вами встречались мы в этом истом рассаднике истинно-русской культуры вчерашнего дня; я встречал там людей, о которых в течение лет двадцати уже не было слуха; священное место, где мертвые восстают из гробов, чтоб пройтись по залитому электричеством Курфюрстендамму! Когда мы, читатель, умрем для всего живого, то — верьте: восстанем из мертвых в Курфюрстендаммном кафе. Я там много бывал; и, бывая там много, не раз переделывал я знаменитое пушкинское выражение по адресу Кюхельбекера: «И стало мне — и кюхельбекерно и скучно» в выражение — «курфюрстендаммно и томительно». Но об этом потом.

«Некто» встретился в Шарлоттенграде с знакомым деятелем революции 18 года, сотрудником газеты «Новый мир»; знакомый любезно дал в первые дни у себя приют «некто»; и в первую ночь говорили они о Советской России; и «некто» рассказывал о духе жизни в Советской России; но неожиданно знакомый сказал: «говорите потише: ведь стены здесь тонкие, ведь за стеной, непосредственно, примыкая, быть может, к стене своим ухом, в постели лежит сам Иосиф Владимирович Гессен». Присутствие редактора «Руля» обнаружилось на следующий же день — за табль д'отом; и «некто» с знакомым вели разговор о Советской России с ним; и все трое отстаивали свои точки зрения в пределах корректности, что не мешало «Рулю»

очень скоро (когда собеседники поразъехались из общего пансиона) начать выпады против вольно-философской ассоциации, открытой при участии «некто»: ассоциация подозревалася в большевизме; знакомый же «некто», с которым редактор «Руля» преспокойнейше спорил, объявлен был тем же «Рулем» чуть ли не большевистским агентом.

Так парадоксы шарлоттенградской действительности вскружили голову «некто» в первый же день его появления в Берлине.

«Некто» поселился на Пассауерштрассе, почти на углу Виттенбергплац, против знаменитаго Ka-De-We (Kaufhaus des Westens), в витринах которого брыжжут градации нежных шелков, располагаемых руками художников-декораторов (то градация переходит от голубого к лимонному, то градация переходит от яркооранжевого к смутно-лиловому), где жеманные восковые красавицы демонстрируют свои туалеты; вертящиеся двери блестящего Ka-De-We пропускают с утра и до вечера толпы франтих и изысканных франтов, усерднейше развозимых подъемником во все четыре огромных этажа; элегантные приказчики и приказчицы рассыпают пред ними предметы; не сразу заметите вы, что среди всех здесь собравшихся наций — поляков, чехо-словаков, китайцев, японцев и русских — отсутствует одна только нация: немецкая нация; эта последняя предпочитает далекие и дешевые магазины, обставившие Александерплац и Штеттинер Банхоф; «Кадеве» — не по карману для немцев; и даже — потом открывается: не по карману Шарлоттенград; он — для русских по преимуществу.

На Виттенбергплац выбрасывает Унтергрунд [1]) разбегающиеся кучки людей по звезде улиц, к нему

[1]) Подземная железная дорога.

прибегающих, и глотает такие же кучи; здесь вечером сияет ослепительно электричество разных кафэ; здесь в российском «Медведе» прислуживают кельпера-офицеры (из русских дворянских фамилий); и здесь в кафэ «Ruscho» огромное множество русских из Лодзи отчаянно спекулирует: действует черная биржа; здесь функционирует Nacht-Local, где танцуют в костюмах праматери Евы несчастные служащие одного торгового заведения; поблизости с угла Клейст- и Лютерштрассе унылейше раздается обычное: «Komm»... А утром здесь действует рынок.

Жизнь Виттенбергплац лишь изредка нарушается: облавою полицейских на черную биржу; и нарушается еще реже — коммунистической манифестацией; поднимаются красные флаги; и — и проплывают: в раскрытую бездну кварталов.

Тут начинается шарлоттенградский Кузнецкий Мост — виноват: Тауэнцинштрассе — центр русских *парти-де-плезир* по Берлину, — та Тауэнцинштрассе, о которой поют куплетисты во всех кабарэ Шарлоттенграда и летних приморских курортов:

Nacht! Tauenzin! Kokain!
Das ist Berlin!

И — буржуазная публика ржет: всему миру известно про «Nacht», «Kokain», «Tauenzin». Кого здесь вы ни встретите! И присяжного поверенного из Москвы, и литературного критика вчерашнего Петрограда, и генерала Краснова, и весело помахивающего серой гривой волос бывшего «селянского» министра В. М. Чернова; недавно еще здесь расхаживал скорбно согнувшийся Мартов; здесь, по меткому выражению Виктора Шкловского, днем бродят — по-двое непременно — с унылейшим и рассеянным видом седобородые русские профессора, заложив руки за-спину: и те, что при-

ехали на побывку в Берлин из alma mater ученых слоев эмиграции — Праги; все, все здесь встречаются! А прибывающие из России здесь именно запасаются обувью, перчатками, шапками и зонтами; сюда появляются в диких, барашковых шапках, в потрепанных шубах Советской России, чтобы отсюда уйти европейцами или чтоб с иголочки одетыми завернуть в кафэ Тауэнцин на пятичасовой чай с танцами. Здесь достаются и билеты на пароход — в Ленинград:

Здесь русский дух: здесь Русью пахнет!...

И — изумляешься, изредка слыша немецкую речь: Как? Немцы? Что нужно им в «нашем» городе?

Тауэнцинштрассе — широкая улица; посредине стремительно пролетают трамваи, автобусы, и авто; у великолепнейших магазинов рядами расселись безногие и безрукие нищие, инвалиды кампании 1914 — 1918 годов, очень часто украшенные «железным крестом», иль немецким «Георгием»; они протягивают свои обрубки прохожим, по преимуществу русским, которых речь пестрит именно русскими неологизмами вроде «abgemacht», «abgeschlossen»; там — улица упирается в шпиц Адмиралтейства, — нет, виноват: в шпиц Gedächniss-Kirche, мимо которой свершают прогулки, встречаясь ежедневно — слева направо: философ Бердяев: и справа налево Борис Константинович Зайцев: мне помнится, — спросишь бывало: «А где Яковенко, философ?» — «В Италии он». А на другой день здесь именно, около Gedächniss-Kirche наткнешься на — Яковенко: «Как, вы? А говорят вы в Италии»... — «Как видите, — здесь»... «Где писательница Петровская?» — «В Риме»... И — нет: вот она; оказывается у Gedächniss-Kirche; здесь пробегают: Пильняк, Пастернак, Маяковский. — «Да, нет же, — в России они!» Но позвольте: на Тауэнцинштрассе я видывал Маяковского. Шпиц замечательной церкви — скрещение времен и пространств: допотопное прошлое здесь перекрещено с наступающим будущим; и Москва перекрещена — с Прагой, с Парижем, с Софией. Шпиц церкви той — пункт, от которого разбегаются радиусы расселения русских в Берлине в окружности шарлоттенградской действительности; один радиус — Курфюрстендамм; другой радиус — Тауэнцинштрассе; третий радиус Кантштрассе; четвертый радиус — и так далее; между радиусами строится сеть серых улиц с однообразнейшими домами; улица неотличима от улицы; дом от дома; все дома достаточно монументальны, роскошны, величественны; но все роскоши и величия этих домов интерферируются в поле зрения в одну серую, буросерую, нудную скуку организованного безумия, в котором понять невозможно ни улицы, ни отдельных домов, ни жильцов тех домов; и при этом особенность берлинской теории перспективы: коли тебе ясно, что надо налево итти, поворачивай смело направо; все отчетливые представления о топографии в городе у тебя суть обратные отображения действительности; все вывернуто наизнанку со здравого смысла в безумие и с такой педантичностью, что самая организация порядка безумий здесь выглядит педантизмом сухого и здравого смысла, спокойствием, ясностью, внушающей полное доверие приезжающим; таково уж свойство Берлина; в него попадая из «явнобезумной» Советской России, сперва отдыхаешь в покое вполне безобиднейшей ясности: все так доступно, так трезво, понятно, цивилизованно, организованно; и ты — доверяешься; вот побежал господин в котелке и с портфелем под мышкой — куда? Вероятно со службы — домой. Вот проходит изящно одетая скромная дама: наверное, — тоже домой; вот идет бледнолицый и томно взирающий юноша сдержанной тихой походкой; на сверике девочка лет десяти с красным бантиком

в волосах поджидает, наверно, подругу, чтоб с нею затеять игру. Все — так ясно: как день!

И потом открывается: господин в котелке препочтенного вида бежит не домой, а в плясульню со службы, чтоб, бросив лакею портфель, отдаваться под дикие негрские звуки томительному бостону и замирать исступленно в бостон разрывающих паузах с видом таким, будто он совершает богослужение; он бежит — священнодействовать; после пойдет домой, к Mittagessen... Безумие! Или бежит он в излюбленный свой «Patzenhofer», чтоб выпить одну только кружечку пива, разрезавши пиво огромным количеством «шнабсов»; к концу своей кружки начнет проповедывать он не теорию служебного права, а — например, правду Вед, приглашая Европу стать Индией: встретил однажды в пивной я почтенного немца, который, шатаясь, приплелся ко мне и заплетающимся языком проповедывал мне философию Шри-Шанкара-Ачария: был инженером он; встретил позднее его: он бежал очень трезво по улицам, — сделавши вид, что меня не заметил; с поверхности глаз отражалась обычная видимость трезвости; а из-под взгляда высверкивало безумие религиозного проповедника; и я сказал себе: «Гм! Безумен и этот!».

И вот открывается после: изящно одетая дама, с опущенным скромно лицом отправляется в... дом свиданья: отдаться безумию извращеннейших мерзостей; томно взирающий юноша, остановивший внимание, «фокстротирует» (идет фокстротной походкой) в... кафэ гомосексуалистов; в Берлине открыто вполне функционируют несколько сот гомосексуальных и лесбианских кафэ; а невинная девочка с красненьким бантом — ужас: вот к ней подошел старичек, прекорректно одетый, по виду американец; она с ним уходит — куда? Опускаю глаза, чтобы не броситься и не крик-

нуть: «О петля и яма тебе, буржуазный Содом!» Организованное безумие, бред, фантастичность и мерзость — во все это медленно начинает Берлин распадаться под пристальным взглядом; все — вывернуто наизнанку; и все сошло с места: в великолепнейших ресторанах господствуют негритянские барабаны; под звуки фокстрота мордастые дикари-спекулянты всех стран пожирают мороженное из ананасов; мелькают японские, негритянские лица средь них; представители же недавно высшей культуры, наследники Гёте, Новалиса, Ницше и Штирнера — где?

Одно время любил заходить я в убогую, тусклую, переполненную вечерами захожими пьяными маленькую пивную; и — наблюдать, как в открытую дверь забегают потрепанные хулиганы, чтоб опрокинуть пред ночью последний коньяк; мне казалося все интересным здесь; как кто выпивает, как шутит, как его уговаривают не буянить; я скоро заметил: средь пока случайных захожих одну постоянную группу; и стал изучать я ее; вот — всегда полупьяный поляк; вот потертого вида дородная дама; вот обер какого-то ресторанчика (я потом повстречался с ним в Свинемюнде), вот вечно шатающийся, черноусенький чехословак (выводили его очень часто насильно отсюда); вот некто потертый и серый, с опухшими веками и в проломленном котелке, — толстячек, именуемый постоянными посетителями герр-директором; вот красноносый, приятный, потертый мужчина, с преясными, грустными голубыми глазами; вот герр-портье из соседнего дома; вот герр-полицист из участка, играющий в карты с ослепшим владельцем пивной; а вот Фрейлейн Марихэн, его очень милая дочка, с утра и до вечера разносящая пиво. Казалося мне: посетителей этой пивной при всей разности их общественного положения, занятий и возрастов объединяет

какая-то тайна, в которой пересекается герр-директор, потертый мужчина, потертая дама, ослепший хозяин и пьяненький чехо-словак; эта тайна пивной — привлекала меня; я ходил сюда; сиживал здесь вечерами; потом мне открылась как будто искомая тайна, роднящая всех посетителей этой пивной; всех сюда приводило отнюдь не веселье; и не желание просидеть безобиднейше вечерок; каждый с каждым связался какой-то своею трагедией, глубочайшим надрывом, паденьем в какую-то бездну; все — бывшие люди, отпетые люди; все — братья в несчастии: все здесь встречаются, чтобы совместно допить свою жизнь, доразбиться без уговора; и характерно: меня привлекало сюда не одно любопытство, а тоже — надрыв, переживавшийся одно время мучительно; собрание этих людей оказалось судьбой установленным братством несчастных; впоследствии перезнакомился близко я с завсегдатаями пивной; и открылося: тусклосеренький толстячек, герр-директор, — утонченный смакователь «Единственного и его достояния» Макса Штирнера; он был осведомлен (и — весьма) в философии Шопенгауэра, Ницше; узнавши однажды, что я люблю поэзию Эйхендорфа, снабдил он меня тут же, с места, исчерпывающей библиографией по Эйхендорфу; этот серенький герр-директор был в духе своем анархистом; так, однажды, когда я сказал, что такого-то политического деятеля надо бы взорвать бомбой, воскликнул он радостно: «Dann kommt Bum-Bum»; и «Bum-Bum» в установившемся между нами жаргоне стало символом разрушения старого мира; не раз с герр-директором действительность современной Германии мы взрывали; и устанавливали: неизбежность германского Октября в близком будущем; герр-директор, когда-то воспитанный на вершинах германской традиционной культуры, стал относительно этой культуры теперь чело-

веком бывшим, отпетым; явлением умственного люмпен-пролетариата современной Германии; в будущем он, конечно, появится неожиданно в революционной волне — с громкой бомбой в руке, чтобы сделать «Bum-Bum» над уже обреченной Европой.

Другой посетитель пивной оказался утонченным музыкантом, поклонником Шумана, бывшим приятелем почившего Лилиенкрона (поэта); с ним очень сошлись мы; а сын его, юноша лет семнадцати, оказался поклонником Советской России; он рвался в Советскую Россию; он ждал революции; потертого вида дородная дама (я счел эту даму ошибочно экс-проституткой сперва) оказалась художницей, некогда постоянною посетительницею мюнхенского кабарэ «Simplicissimus», где и я когда-то бывал ежедневно, встречаясь с Пшибышевским, с поэтом Людвигом Шарфом, с Мюзамом (членом советско-баварского правительства) и с Ведекиндом; оказывается, с этой дамой встречались мы в «Simplicissimus» еще в 1906 году.

Сама дочка слепого хозяина оказалась чуткою с художественною натурою, изучающей в свободные от работы минуты французский язык, литературу, поэзию, музыку; я ей дал почитать перевод моего «Петербурга», и никогда не забуду я тонкой оценки его от — кого? От служительницы бедной пивной! Здесь-то, в скромной пивной, среди пьяниц, почти отщепенцев, почти подозрительных личностей мне возникли наследники бывшей великой культуры; они оказались упавшими из «бэль-этажа» берлинской цивилизации — в подвал жизни; а в «бэль-этаже», в курфюрстендаммных кафэ, водворилися «негры» культуры, осыпанные бриллиантами; да, о поэзии Эйхендорфа не говорилось здесь; и руки здесь не протягивались за бомбами, чтобы учинить громозвучный «Bum-Bum»! Говорилось о долларах, о падении марки.

И было все — «Кюрфюрстендаммно и скучно»; я не забуду, как в этих злачных культурных местах говорил меньшевик, оправляя изящнейший галстук, потягивая «шерри-коблер» из малой соломинки: «А вы все пропадаете в вашей странной пивной — не понимаю: какая охота сидеть в закоптелом, унылейшем помещении среди пьяниц?» И я тут подумал: «Голубчик мой, мы никогда не сойдемся: вот ты называешь себя социал-демократом, ты нанимаешь автомобили и совершаешь передвижения при помощи аэропланов». А мы с герр-директором, поклонником Штирнера, Эйхендорфа и Ницше, которых, наверное, ты не прочтешь никогда, перешептываемся о том, как не мешало бы и тебе за-одно с буржуазной компанией учинить очень громкий «Bum-Bum».

Да — вывернулся наизнанку Берлин: и верха утонченной культуры ютятся в сомнительных, грязных низах одураченной, сумасшедшей, проплеванной жизни; низы же культуры нахальнейше задраны; и сидят в ресторанах, порхают в авто, осыпают себя бриллиантами.

И Берлин — организованный, систематически в жизнь проводимый кошмар, принимаемый под невинной формою обыденного, здравого (буржуазного) смысла: тот смысл есть бессмыслица.

Никакою бессмыслицею не удивите вы современного среднего немца; я часто впоследствии думал, пересекая Курфюрстендамм: «Что бы сделать такое мне, чтоб удивить?» И себе признавался я: удивить невозможно берлинца; ну стал бы, положим, я — вверх ногами; прохожие лишь слегка отметили бы мое стояние вверх ногами; не останавливаясь, не оборачиваясь, — пробегали бы мимо они, мимолетно подумав: «Наверно реклама». Ну стал бы, положим, кричать, что я «верую в кошку серую»; не удивился никто бы; и

подумали бы: «вероятно — сектант: может быть, дадаист». Если бы я пожелал откровенно возлечь посреди наполненного людьми тротуара, — подумали бы: «Пьяный». Явился бы полицейский: меня усадили бы в «авто»; и, узнавши мой адрес (по паспорту), преспокойно бы отвезли к назначению, сдали бы портье, тот — хозяйке: и я очутился бы в своей собственной мягкой постели; хозяйка бы улыбалась лукаво: «Getrunken, — macht nichts»! Так, чем более медитировал я над проблемою удивить чем-нибудь коренного берлинца, тем более делалось ясным: пределы всех дикостей превзойдены обыденною, «трезвою» жизнью Берлина; под «трезвою» же жизнью по методу всех берлинских контрастов нам надо подставить обратный смысл: и разуметь — вовсе пьяную жизнь. В этой жизни пересекаются в буржуазном Берлине и русский, и немец шарлоттенградского округа — в какой-нибудь русско-немецкой кофейне, иль «Дилэ», где немцы пьют «Wodka» и жгучий ликер под названием «Natascha», и где прислуживают русские офицеры, где ночью естественно заключаются союзы Эмигрантской России с Германией в вопросе о поддерживании друг друга при очень рискованном возвращении домой, ибо и русских и немцев вполне одинаково озабочивает великий Коперник, показывающий русским и немцам в сей час ночной опыт — вращенья земли под ногами. Знакомый один мне рассказывал: «Знаете, множество раз напивался я до бесспорного перерыва сознания в неизвестном, ночном ресторане, куда заходил я один и — просыпался в постели своей». — «Как же вы попадали домой?» — «Говоря откровенно, не знаю: однажды лишь у себя в портмонэ я нашел преизящную визитную карточку мне неизвестного немецкого лейтенанта, меня уверявшего в дружеских чувствах; и — с указанием, что он именно и доставил домой меня». Тут

перешел он к восторженному восхвалению берлинской культуры, вполне разрешающей проблему ковра-самолета: падай в пьяное бессознание, где хочешь, — ковер-самолет тебя тотчас подхватит; и — претаинственно пронесет через крышу, чрез стены, тебя опустивши в твою же постель; утром встанешь: в порядке — все, все; даже выставлены ботинки.

— «Да, да: хорошо в этом славном Берлине», — окончил свое славословие он.

О «НЕГРЕ» В ЕВРОПЕ

О «НЕГРЕ» В ЕВРОПЕ.

Попадая в Берлин, вы охвачены видом Берлина: печатью безвкусия; стиль домов, уклад жизни — все тут буржуазно; безвкусием выступает унылая Sieges Allee. И безвкусием оглушает нелепая Лейпцигерштрассе.

Но где же иная культура? Ведь кроме обличия города, есть в нем душа: душа мощной культуры Германии. И справедливо читатель меня мог спросить бы: что создано в области этой культуры за годы войны, революции? Словом, слышу уже: почему автор нам говорит не о Шпенглере, не о новых поэтах, не об огромнейших достижениях немецкой науки.

Но, во-первых: цель этого очерка нарисовать только внешний эскиз жизни города, без углубления в анализ произведений искусства, науки; и, во-вторых: все, что создано в области чисто-немецкой культуры за годы 1918 — 1923, не обрисовывает особенно разительных новых контуров; очень много новых явлений; но, так сказать, в старой плоскости; по теологии вышло огромное количество книг; может быть, среди них есть и замечательные сочинения, но продолжающие старые традиции; печатаются и книги по философии; Риккерт выпустил первый том своей «Системы

философии»; но этот том — продолжение его прежних работ; появился философ Макс Шеллер; но это новое имя не принесло с собой нового содержания; духом католицизма пропитаны его мысли.

Появилось множество новых поэтов; они пишут бледные стихи вольным размером, напоминающим прозу. И — только. Достижения германской науки огромны; но наука вненациональна; она, сказал бы я языком Шпенглера, относима не к сфере культуры, а к сфере цивилизации. В сфере же культуры, как таковой, автоматически выявляет себя производство культурных продуктов; но потрясения сознания в них нет. Должен сказать: наши искания в сфере искусства гораздо интереснее и содержательнее таких же исканий в Германии; послереволюционный быт Германии не отразился еще в произведениях последнего времени, потому что в Германии нет послереволюционного быта, а есть быт послевоенный; революции в Германии не было: был маскарад под флагом революции; и нам, пережившим огромные потрясения недавних лет, просто пресны подчас произведения, рисующие текущий момент жизни Германии.

Вы заметьте, что часто говорят: «Такие поэты, как Шиллер, Гёте, Гейне, Новалис, Рильке, Георге; и — так далее». Или говорят: «Такие композиторы, как Бетховен, Шуман, Шуберт, Вагнер; — и так далее». Или: «Мыслители, как Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель, Шопенгауэр, Ницше; и — так далее». При этом под «и так далее» разумеются среди композиторов, между прочим, и Малер, и Брукнер; среди мыслителей — такие, как Фихте младший; «и так далее» в таких случаях означает: тех же щей, да пожиже влей. Вся культура современной Германии традиционна и буржуазна; но даже по отношению к недавней сравнительно эре эта культура находится под знаком «и так далее». В основном

русле культурных устремлений Германии новое не так уже ново; традиционное же измельчало. Абсолютно новые факторы в жизни Германии не ищите вы среди книжных новинок, выставляемых в окнах книжных витрин, а где-то — в углах, куда надо проникнуть; и новое — в самом воздухе улиц, в том, что еще не оформилось, не кристаллизовалось, не осело в достижениях: в книгах, в полотнах, в музыкальных явлениях.

Боже мой, до чего ужасен немецкий сецессион, до чего находятся под влиянием нашей художественной молодежи художники Sturm'a! Не слишком увлекают Ман, Келлерман, Бонзельт и Меринг.

И тогда начинаешь понимать основное настроение таких произведений, как «Закат Запада» Шпенглера, лишь поверхностно новых и глубоко ветхих по существу: в них выражается пресыщенность взора, уставшего обзирать сплошное «и так далее» и разочарованного в возможности увидеть нечто подлинно новое.

«Новое» — есть; но не на книжных витринах вы это новое увидите. Книжные витрины, наоборот, полны старым: в книжных витринах вы увидите Индию, Египет, Китай; вы прочтете ряд заглавий, посвященных древним памятникам искусства, увидите книги о буддизме, увидите литературу по необуддизму, произведения графа Кайзерлинга вперемежку с экстравагантными произведениями экспрессионистов и дадаистов; но экспрессионизм и дадаизм — реминесценция искусства дикарей; недаром в Германии интересуются теперь археологическими работами Фробениуса, вскрывающими в произведениях западно-американской культуры древнюю цивилизацию; недаром интересуются в настоящее время искусством негров; я был много раз в великолепном музее около Лейпцигерплац, часами простаивая перед памятниками негритянской культуры;

она веет чем-то слишком знакомым; в конце концов это тот же экспрессионизм.

В дадаизме и экспрессионизме отчетливо изживает себя современная умирающая культура буржуазной Германии, в которой экзотика и восток с непосредственной силою выпирают наружу; и Фробениус, исследователь негритянской культуры, мог бы успешно продолжать свои изыскания, не отправляясь в Африку, а исследуя быт теперешних кафэ и... ателье Берлина (вероятно, и Парижа, и Вены, и Лондона), потому что некий символический негр вылезает на поверхность жизни буржуазной Европы в дадаизме столько же, сколько в фашизме; и в фашизме не более, чем в фокстроте, чем в звуках «джазбанда».

И тут-то, пожалуй, в уличной жизни Берлина встречают нас явления безусловно новые, о насколько более новые, чем все появившиеся за последнее время книги, когда серый, серо-бурый Берлин вечером разрывает в клочки свое одеяние; и в электрическом блеске пестрейших кафэ, в негритянском ритме фокстротов проступает восток и юг: тут увидите вы и Нигерию, и Маниллу, и Яву, и Цейлон, и древний Китай.

Хочется воскликнуть: Европа? Какая же это Европа? Это — негр в Европе, а не Европа.

И тут мы переходим к весьма интересному и мало еще вскрытому вопросу: к обнаружению черного интернационала на-ряду с красным. Черный интернационал пополняется продуктом разложения и вырождения буржуазной культуры, ведущей к своего рода дикарству; новоявленные племена дикарей образуются во всех крупных городских центрах Европы: здесь преждевременные отбросы буржуазной культуры (отбросы до обвала ее) описывают интереснейшую эволюцию: от утонченнейших переживаний современности, обусловленных вершинными точками капиталистической

культуры, к проявлению в них воистину доисторических черт; в утонченных сквозь утонченность начинают проглядывать черты атавизма; эволюция — редукция к атавизму; она позволяет в текущем процессе разглядывать и изучать процессы образования всяческого дикарства.

Весьма характерно: наукой давно уже оставлена господствующая тенденция—видеть в нынешних дикарях представителей примитивной культуры; воистину: праотцы человеческих поколений давно отодвинуты в мраки тысячелетий; археологические и этнографические открытия современности опрокидывают тенденцию связывать линию человеческой эволюции с ныне живущими племенами и расами; можно смело сказать: основной ствол развития человечества не явлен в истории; но последнее звено его существует как раз в прогенерирующих вершинах культуры; а все почти представители нынешней примитивной культуры — дегенераты когда-то бывшей; так: темные обитатели островов Пасхи, быть может, потомки угасшей и в свое время великолепной культуры, представленной остатками монументальнейших памятников, весьма изощренных и апеллирующих к существованию культуры; так: поколеблен взгляд, что египетский архитрав меж колоннами (плоский) является примитивом после открытия дугообразного свода открытых остатков какого-то коридора, учеными отнесенного к весьма давнему времени; так утонченная форма бритв, которою брились карфагенские щеголи, оказывается ныне формою боевых ножей танганайских негров; не говорю уже об египетском орнаменте тканей, который ныне встречается всюду на тканях негров центральной Африки.

Когда французы в конце прошлого века завоевали негрский город Диэннею в Нигерии, они были пора-

жены открывшимся им стилем дизннейских построек: это был стиль зданий древнего Египта, сохранившийся только здесь. Сколько раз учили нас в детстве тому, что Гомеровский эпос является примитивом, а после раскопок в Трое и на острове Крите мы знаем уже: примитив этот одновременно является редукцией к примитиву огромной, утонченной, до него существовавшей культуры.

И острова Пасхи, и Африка видели в прошлом большие культуры; распад тех культур и породил дикарей; и предоставь мы Европу ее настоящей пассивности, она может стать местом, внутри которого сформируются новые острова Пасхи.

Острова Пасхи и «негр» европейский суть выродки из переутонченной капиталистической Европы: выродки — куда? В ритм фокстрота, в мир морфия, кокаина, во все беспардонности организованного хулиганства, которому имя сегодня — «фашизм», завтра, может быть, имя — Канкан. Канкан — негрский город, разрушенный некогда авангардом европейских хищников, — воскресает... в Париже «канканом», дичайшим и отвратительным танцем, который расплясывается там именно, где чувствуется разложение пресыщенной, праздной, беспутной жизни; этою, некогда повальною модою на «канкан», в известных кругах охвачены были те именно, в ком естественно откликалось на «канкан» их дикарское чрево.

О, страстных песен сих не пой, —
Под ними хаос шевелится.

Так: «темный хаос», которого Тютчев боится, есть атавизм, чрево, прошлое: оно — дикарь в нас; и оно же — тот «варварский Дионис», которого Ницше противополагает им чаемой в будущем дионисической, музыкальной культуры «сверхчеловеков», которыми, по словам Троцкого, должны мы стать в будущем:

путем подчинения нашего бессознания нашему сознанию; если прошлое есть бессознание (теза), а настоящее наше — сознание (антитеза), то будущее наше — (синтез) — в соединении бессознания с сознанием; в случае соединения этого в сфере сознания (подчинение бессознания сознанию) мы получаем тип новой динамической, творчески-трудовой культуры, пропитанной тем духом ритма, к которому призывал Ницше, подчеркивая, что воспеваемый им Дионис не имеет ничего общего с Дионисом варваров, соединяющим в отвратительных формах сладострастие с кровавой жестокостью; в случае же падения сознания во власть бессознания (в случае неудачного синтеза), получаем мы человека, проваливающегося в собственное чрево, распевающее в нем голосами темных стихий и украшенное утонченнейшими ожерельями изо всех достижений индивидуальной (буржуазной) культуры; синтез настоящего этой культуры с ее прошлым — новоявленный дикарь, происшедший от декадента.

Не то ли же мы наблюдаем в малом масштабе, прослеживая историю первых четырех поколений наших капиталистов недавнего времени: деды недавно господствовавших среди нас Рябушинских и Щукиных — крепкие выходцы из деревни; отцы — просвещенные миллионеры, коллекционеры, покровители новых исканий в искусстве, порой чувствующие странное тяготение к нео-примитивам Гогенов, Матиссов, Пикассо; внуки их — исключительные поклонники этих последних, экспрессионисты и дадаисты из переутонченности, открывающие эту утонченность в старом негрском искусстве и проповедующие под формою возвращения к природе утонченное скотство; этот слой пополняет собою все те нездоровые обители извращения (санинизма, садизма), в которых как раз воскресает каннибализм обитателей Океании и всяческих

островов Пасхи; и смело можно сказать, что в четвертом их поколении мы увидим вполне идиотов, кретинов, среди которых и образуется современный, себя сознающий «дикарь», проповедующий гибель Европы не словом, а действием.

Свою параболу от настоящего в прошлое «дикарь», выращиваемый под маскою культуртрегера, объясняет себе любовью к фольклору и к «с т и л ю»; так называемое явление «с т и л и з а ц и и»—не искусственное явление, а н у т р я н о е; тяготение к такому-то стилю есть начало власти «н у т р а» человека над ним; каков стиль человека, таково же нутро его. Этот факт вполне нами сознан.

Какой стиль господствовал в последних десятилетиях среди утонченников буржуазной Европы? Стиль разложения реальности этой Европы; действительность ее на полотнах, в стихах, на орнаменте стала плавиться и разлагаться; все твердые формы рассыпались; сперва они приобрели текучее состояние (импрессионизм, нео-импрессионизм), потом стали диссоциироваться (футуризм, дадаизм); сквозь диссоциируемую действительность новой «заумной», «дадаистической» Европы отчетливо проступила ужаснейшая гримаса негритянского «ф е т и ш а», объявленного утонченнейшею формой искусства; и объяснилося давнее устремление культуртрегеров европейских к темному «востоку», к «югу», к «варварскому» Дионису Ницше: и Франция, эта страна декадентов, открыла кампанию; сначала в ней слышались сентиментальные зовы Руссо, возвращающие к природе; потом та «природа» себя обнаружила по «в о с т о ч н о м у» (уже позднее): в произведениях Гобино, Жерара-де-Нерваля, в буддийской проповеди Нирваны у Шопенгауэра, в Вагнере, вобравшем в себя Шопенгауэра, в дионисической теории Ницше, рожденной из Вагнера; эта проповедь идеологии бессознания, «н и ч т о» сопровождалось развитием востока в Европе: восток отпечатлевался восточными модами и экзотикой; с конца прошлого века до нынешних дней рост экзотики этой огромен. Точно все тронулось во внутреннем мире современного буржуа, точно он охвачен порывом, несущим его; тот порыв—есть падение врутренних устоев буржуазной культуры; он—ощущение обвала всего буржуазного мира в себе. Этот обвал — в свою очередь, следствие развития революционных газов и лавы под недавно крепкими почвами капитализма; землетрясение почвы было услышано Ницше; образно провозгласил он гибель старой Европы (ее жизни, ее мысли, ее культуры) шествием Диониса на Европу; под Дионисом разумел он наступление динамической эпохи; нам ныне известно, что эта эпоха есть победа над формами (продуктами) трудовых и творческих ценностей; все будущие Шпенглеры implicite сидят уже в Ницше; но Ницше предостерегал и от варварского Диониса: от падения вершин старой жизни и от гибели под обломками ниже лежащих (мелкобуржуазных пластов), которых судьба в будущем—оказаться между молотом падения старых ценностей и наковальней из-под почвы выпирающей социальной революции; ныне мы видим картину наступившего хаоса: поднятия революционной энергии снизу вверх; и расширение буржуазной дегенерации сверху вниз; в точке пересечения двух встречных волн, ныне в среднем пласте, так называемых, бытовых устоев, мы наблюдаем ужаснейший хаос борьбы и смещения всех критериев, являющих одновременно: появление «ч е л о в е к а-н е г р а» в среднем обывателе Берлина, Парижа, Нью-Иорка и появление перед ним же грядущего мстителя в виде пролетария с молотом, поднятым над его мещанским покоем.

«Негр» в Европе породил ужаснейшее событие, никогда не бывшее в мировой истории: Европа несколько лет сотрясалась не ритмами бетховенских симфоний, а ритмами пушечных перекатов, гуденьями автомобильных гудков, скрежетанием крыльев пропеллеров; эта адская музыка воспитала и революцию, и... «н е г р а» — одновременно — в сознании европейского человечества; «маски» покоя, комфорта и мира теперь были сброшены; одновременно явились во всей своей четкости перед лицом обывателя: и «н е г р», и «революционер»; оба несли справа и слева удар в середине стоящему обывателю; под молотом титанов подземных (пролетариата) сотрясался пол обывательской «х а т ы с к р а ю», а потолок этой хаты проломан был падением вершин над ним занесенной жизни; в проломленный потолок упал на него тот, кто стал ныне образом с ним живущего «негра»: «негра» в Европе. Не случайно, что в годы этой войны впервые «негры» явились в Европу в виде организованных полков нигерийской пехоты; этих негров видала Германия; и Одесса видала их; этих негров доныне еще созерцает Рурская область. Те негры суть символы «негризации» нашей культуры; сколькие после войны явились в былую жизнь внутренними «неграми»; симфония пропеллеров и звуки разрывов «чемоданов», перекликающаяся с начинающейся симфонией гудков, — все это вызвало новые ритмы в Европе; и эти ритмы себя осознали «ф о к с т р о т а м и», «д ж и м м и» и «я в а м и», сопровождаемыми дикими ударами негрского барабана «д ж а з б а н д а»; Европа оказалась охваченной «восточными» танцами, «восточными» ритмами, «восточными» настроениями, где древний огнепоклонник себя изжигает в «ф о к с т р о т о п о к л о н н и к е», где «в а р в а р с к и й Д и о н и с», или появление колоний Европы всего цветного мира —

в Европе, себя изживает в повальном отравлении городского «негра» кокаинами, морфиями, к которым пленительно так призывает утонченный вырожденец Феррер.

Эта мода к востоку, пребывавшая в скрытом состоянии до войны, теперь появилась на улице жизни: Берлина, Парижа. Восток современного, буржуазного запада и «негр» фашизма — вот подлинное новое явление берлинской культуры: «ч е р н ы й и н т е р н а ц и о н а л» распространил свои яды и на Германию.

Но центр его — Франция.

Франция, недавняя законодательница европейских мод, «прогрессивная» Франция оказалась и ныне «прогрессивной»: она стоит во главе «черной» моды для европейских упадочников; эта Франция видится мне горном, переплавляющим гибнущие слои Европы в какой-то нового цвета состав; можно смело сказать, — в черный состав; распространению власти европейских грабителей на весь мир соответствует вторжение цветного мира колоний в Европу; европейскому человечеству суждено или признать права на гражданство и экономическое равенство всех народов «в о с т о к а» и «юга», или насильственно свариться в «востоке» и «юге». И всего более вы это чувствуете на Франции.

Еще 12 лет тому назад в бытность мою в Тунисии, мне это стало вполне ясно; наблюдая «прекрасную француженку» в Африке, я впервые преисполнился глубокого негодования по адресу ее «прекрасных глаз»; я перестал верить в ее прекрасную тонкую талию после того, как она проглотила в одной только Африке, не считая Мадагаскара, пространство, равное 21-ой европейской Франции; и тогда еще думал я: эту прекрасную талию скоро, наверное, Африка разорвет; тогда же я стал внимательно вглядываться в меня окружавшую «франко-африканскую» жизнь,

вчитываться в быт и в историю культуры ею проглоченных народностей; отрывок из моего африканского дневника, напечатанный заграницею, через 11 лет после своего появления на свет, показался немцам настолько современным, что они перепечатали его с комментарием, весьма для меня лестным (будто бы в этом отрывке — предвидение современности); вчитываясь в этот отрывок, я вижу, что он характеризует современную «черную» Европу (Европу фашизма, фокстрота и черного интернационала). Поэтому я позволяю себе привести из него здесь несколько выдержек.

Вот что я писал в 1912 году [1]).

«Вы не знаете Франции: европейская Франция — малый отросток гигантского тела, лежащего в Африке и отломанный от африканской земли кручами Гибралтара... Знаю наверное я: никогда не пришло вам на ум точно вымерить Францию; вымерил я: отношенье ее европейских частей к африканским за вычетом Мадагаскара... равняется дроби: $^{1}/_{22}$... Все отродия цветокожих метежутся громкою жизнью, просочатся, клокочут в артериях организма страны, привлекая кровь нации из головы европейской и знаемой Франции, — в ее черное африканское сердце: за Францию, — ту, которую знаем, — мне страшно...; надо ей беспрепятственно переварить то огромное тело, которое проглотила она, т.-е. 22 Франции, чтобы стать после кровного усвоения Африки $^{1}/_{22}$-ою себя самое; я боюсь — будет час; кровь с огромною силой прильет к голове организма Французской Европы — кровь черная: миллионами негров, мулатов вдруг хлынет в Париж,... жилы страны разорвутся под мощным

[1]) Все приводимые выдержки из II тома «Путевых заметок», доселе не могущих появиться в свет, из главы «Двадцать две Франции».

напором; и европейскую Францию постигнет удар: почернеет ее голова»...

Мои слова «вы не знаете Францию» относимы, конечно же, к Франции буржуазной, в то время стыдливо закрытой вуалью либерализма и сантиментальных вздыханий о «порабощенном Эльзасе»; теперь — Франция узнана: Франция Рура, военных аэропланов, могущих в какой-нибудь час превратить в развалины целый Берлин; Франция, положившая под ноги Парижа миллионы русских солдат и вмешивавшаяся своими жандармами во внутреннюю жизнь Советской России, — узнана; узнана Франция, устраивавшая блокады Советской России и посылавшая в Одессу своих африканцев; Франция — насильница Рура — разоблачила себя; «время отлива соков страны», или интеллигентных верхов, вглубь Африки есть время экзотики ее упадочной культуры, рождающей новые моды канкана в Париже; а ответный прилив ее черной, африканской крови к голове — война 1914 года и появление сенегальских и нигерийских полков на фронте Европы, это — начало конца «белой» Франции, Франции буржуазной; апоплексический удар головы француженки, вернее, начало его — появление кровавого каннибала, Пуанкаре, в роли центральной клеточки ее головного мозга.

И далее:

«Завоевание Францией Африки как-то мы все проглядели; об оккупации марокских провинций мы только что прочитали в газетах [1]); Марокко же — малый кусочек земли по сравнению с тропической Францией; собственно говоря: центр ее не в голове, а — в ногах; голова — истончается (прекращение рождений): худеет, худеет, худеет она; все-то пухнут

[1]) Отрывок писался в 1912 году.

и пухнут черные ее африканские ноги; такая распухлость — болезнь: элефантиазис (так кажется). Бедная Франция! Вот — Марокко, Алжир, Тунис; вот Нигерия, Сенегал и Гвинея; вот грудь; а вот — ноги; меж ними — широкий живот: то — Сахара; знаете расстояние от руки до ноги современной «француженки» от Алжира до, скажем, Луанго; я вымерил: расстояние от Алжира до этого пункта равно от Москвы и до Лондона; расстояние крайних точек ее поперечника (в талии) — от Сен-Луи до египетского Судана, опять-таки приблизительно, есть расстояние от Москвы до Лондона; у миниатюрной «француженки», надо признаться, — не очень-то тонкая талия; Франция быстро толстеет; она — негритянка; не галльский петух ее символ; и — не кадриль ее танец; скорей ее символ — жираф; ее танец — канкан; и не надо быть тонким провидцем, чтоб внятно понять: *уже даже в XX столетии в тонкие звуки «рояльной» культуры Европы войдет глухо-дикий рыдающий звук барабана, «там-тама», «ля-ля» превратится в звук «бум». И забумкают звуком «бум-бума» пространства Европы.*

Эти слова оправдалися через два уже года: сперва «*забумкали*» звуки орудий; потом «*забумкал*» джазбанд с каждой улицы и из каждой кофейни.

И — далее:

«Африканскую Францию ныне слагают — трехцветие берберийских культур: то — Марокко, Алжир, Тунис; Европейская Франция — треть их тел; далее следуют — грозный Туат и Сахара (равны — восьми «*Франциям*»), ниже — снова три Франции: Сенегал и Гвинея... Дагомея, слоновое побережье, опять-таки, превышают размерами «Францию», Нигерия составляет две Франции; около четырех их составят Убанг, Габон, Среднее Конго и земли... по направлению к озеру Чад до... —

Бахр-Эль-Цазаля. Так двадцать две Франции составляются вместо одной... Во второй половине истекшего века тишайше свершилось завоевание знаемой Францией двадцати двух незнаемых.... обещающих всплыть очень скоро в «*мулатских*» произведениях ново-французской культуры... Европа — «мулатится», собираясь «*онегриться*»; пока еще... «негритенки» — апаши — шалят себе в древнем Париже; и то ли еще увидим — в текущем столетии!»

И увидели: Францию, европейского «*апаша*»! И — далее:

«*Появляются неофранцузы среди нигерийцев; и зреет Нигерия в сердце француженки; множатся полки сенегальских стрелков... В будущей европейской войне негритянская армия будет оплотом французов*».

Как скоро — сбылись все слова: негритянскую армию — видели мы; «неофранцузов» — мы видели: негра Марана, увенчанного Гонкуровской премией за роман «Батуала». А «*нигерийские*» французы, иль патриоты Нигерии среди парижан, — вот один из них: полковник Баратье, автор книг «A travers l'Afrique» и «Au Soudan»; он описывает примеры героизма черных, у которых он отвоевывал землю для «будущей Франции»; в своей книге «A travers l'Afrique», он говорит: «Разве что-либо знают о взятии Иоссебугу, Досегвалы и Диэннеи... Прямо скажу: перед героями мы стояли». Вот повесть о взятии Диэннеи: «То был первый вечер по взятии приступом Диэннеи. Защитники — пали: никто не остался в живых... Над трупами простерлась ночь... Часовой цепенел на вершине холма... Вдруг... приподымается тень... — «Кто ты?» — Я — вождь Диэннеи: убей меня! Но часовой... стрелять не имеет права... И часовой...

подходит к заснувшим солдатам... будит одного из них: «Возьми свою саблю». И оба подходят к начальнику чернокожих; тот — пробует лезвие... «Хорошо: так — убей»! И, вытянув шею, он падает... И один из солдат отступает... откидывается; свист... сабли, и... сабля падает — падает вождь Диэннеи, с главой, отделенной наполовину от плеч» (Baratier)...

Мы читали о прениях во французской палате; мы знали подробности жизни болтающих там адвокатов; и вороватый мосье Депютэ, облекаясь во фрак, с шапоклаком в руке, полонял наши думы... О том, что свершалось воистину с Францией, не знали, конечно, мы; в это время кидались полки на твердыни Диэннеи, Канкана; мы знали одно про Канкан: «Это танец»! Последнее слово культуры пленительной Франции. И не знали мы вовсе, конечно, — насколько то слово есть слово последнее Франции Абеляра, Мольера, Расина и д'Аламбера; и первое слово младенческой Франции каких-нибудь Бандиугу-Диар [1]) из Нигерии... Отблеск молнии, сжигающей Францию, в звуке «Канкан». Отблеск молнии — жесты взлетающих ног буржуа-депутата... В Париже так думали: «Наш «P a r i s» заострился в Канкане: и fin du siècle заключается в размахавшейся пятке»... Но махавшая п я т к а не думала вовсе о том, что то — жесты грядущего взрыва во Франции: взрыва короста «белых» французов во взрыве... махающих пятками...

Взрыв махающих пяток есть взрыв дикого французского милитаризма. Заключаю ряд цитат из своей статьи 1912 года последней цитатой:

«Не Судан ли наш будущий суд: суд над Францией болтунов, буржуа, адвокатов, банкиров, гоняющих броненосцы в Кронштадт, проливающих слезы о «милом»

---

[1]) Имя негритянского воина.

Эльзасе; и под шумок опускающих саблю на голову храбреца «pour manger son gigot»... Может быть, французский грядущий историк — из черных — напишет: «Это был вечер по взятии укреплений Парижа. Защитники — пали: никто не остался в живых... Простиралась над трупами ночь... Часовой, прижимая ружье, цепенел... Вдруг он видит: приподымается тень, над трупами: — «Кто ты? Скажи». «Ле-Франсэ: вождь погибшей страны, подарившей Мольера, Вольтера, Дидро, д'Аламбера, Вэрлэна... Убей же меня». Чернокожий стрелок тут разбудит какого-нибудь Бандиугу Диару: и упадет Ле-Франсэ, странно вытянув шею; блеснет злая сабля; и Бандиугу-Диара начертит роковую черту на истории Франции» («Путевые заметки», II том, «Двадцать две Франции»).

Сказанное о Франции можно было бы распространить и на Англию: вот судьба буржуазной Европы — быть разорванной изнутри революционной стихией, или быть разорванной извне в нее влитыми цветными колониями. И эти колонии в Европу вливаются; и «негроиды» образуются в разлагающейся буржуазной крови; кровь сочится с верхов «утонченной» Европы в мелкобуржуазное ее сердце; и — разрыв сердца близок; и, переполненное отравленной кровью, оно бьется ритмами фашистского марша и ритмом фокстротов; варварский Дионис открыто явился на улицу современной Европа; Европа оскалилась страшною «д а д а и с т с к о ю», «н е г р и т я н с к о й» гримасою.

Вот истинно новое в старой культуре Европы; современным Фробениусам нечего отправляться в Африку для исследований; поле исследования какая-нибудь «Place Etoile» или какой-нибудь берлинский «Kurfürstendamm».

О НЕГРЕ В БЕРЛИНЕ И ЕЩЕ КОЙ О ЧЕМ.

Фокстротопоклонники интересовали в Берлине меня; я разглядывал их, шествующих по Motzstrasse и по Tauentzinstrasse; то — бледные, худые юноши с гладко прилизанными проборами, в светлых смокингах и с особенным выражением сумасшедших, перед собой выпученных глаз; что-то строгое, болезненно строгое в их походке; точно они не идут, а несут перед собою реликвию какого-то священного культа; обращает внимание их танцующая походка с незаметным отскакиванием через два шага вбок; мне впоследствии лишь открылося: они — «фокстротируют», т.-е. мысленно исполняют фокстрот; так советуют им поступать их учителя танцев, ставшие воистину учителями жизни для известного круга берлинской молодежи, составляющей черный интернационал современной Европы; представителями этого интернационала, с «негроидами» в крови, со склонностями к дадаизму и с ритмом фокстрота в душе переполнен Берлин; тут и немцы, и венцы, и чехо-словаки, и шведы, и выходцы Польши, Китая, Царской России, Японии, Англии — бледные молодые люди и спутницы их: «бледные, худощавые барышни с подведенными глазами, с короткими волосами перекисеводородного цвета, дадаизированные, кокаинизированные, поклонницы модного в свое время мотива бостона, изображающего «грезы опия». Те и другие переполняют кафэ в часы пятичасового чая и маленькие «дилэ», напоминающие Индию и Цейлон пестрой растительностью шелков и огней; вот лилово-вишневое «дилэ», струящее в полусумерки свет кровавых огней: вот «дилэ» — лазурно-лимонное; всюду томно рыдает «томбола», посредине — маленькое пространство; у стен — столики; за столиками — парочки кокаинно-дадаизированных,

утонченных мулаток, мулатов; в одном углу громыхает «джазбанд»; «джазбандист» же выкрикивает под «бум-бум» «дадаизированные» скабрезности; тогда молодые люди встают; и со строгими; исступленными лицами, сцепившись с девицами, начинают — о нет, не вертеться — а угловато, ритмически поворачиваться и ходить, не произнося ни одного слова; музыка — оборвалась; и все с той же серьезностью занимают места; в промежутках между «фокстротами», «джимми» и «танго»; на маленьком пространстве между столиков появляется оголенная танцовщица-босоножка; так продолжается много часов под-ряд; так пляшут в энном количестве мест, в полусумеречных, тропических, маленьких «дилэ»; так пляшут одновременно в энном количестве кафэ; градация бесконечно разнообразных плясулен — маленьких, огромных, средних, приличных, полуприличных, вполне неприличных — развертывается перед изумленным взором современного обозревателя ночной жизни Берлина: вплоть до огромных, битком набитых народных плясулен, все пляшут в Берлине: от миллиардеров до рабочих, от семидесятилетних стариков и старух до семилетних младенцев, от миллиардеров до нищих бродяг, от принцесс крови до проституток; вернее, не пляшут: священнейше ходят, через душу свою пропуская дичайшие негритянские ритмы: область распространения «канкана» в Европе расширилась; половина буржуазного Берлина с пятичасового чая и до закрытия ресторанов — «Канкан», негрский город.

В моменты закрытия ресторанов по улицам мрачного, буро-серого города валят толпы фокстротопоклонников, фокстротопоклонниц; и медленно растворяются в полуосвещенных улицах Берлина; и делается на сердце уныло и жутко; тогда из складок теней начинает мелькать по Берлину таинственный теневой чело-

вечек, с котелком, точно приросшим к голове, придающим последней какую-то звероподобную форму; вам кажется, что это тот самый песьеголовый человек, который встречает вас на древних фресках Египта; там он неизменно сопровождал усопшего в царство теней, на страшный суд к Озирису; тут он, схватив вас под руку, обдает вас коньячными испарениями рта и выхрипывает вам в ухо: «Я отведу вас в «Nachtlocal». «Nachtlocal» — ночные плясульни, ежедневно меняющие свои места и преследуемые полицией; если вы последуете за песьеголым человеком, — перед вами откроется градация ночного Берлина: полуприличных и неприличных плясулен, игорных притонов, вплоть до курилен опиума; в этот же час рыскают по трущобам Берлина автомобили, наполненные полицейскими; они отыскивают ночные притоны и отправляют там пойманных посетителей в «Poliezeipräsiedium».

«Песьеголовый» человечек — красноречивое явление умирающей части Берлина; «песьеголовым» некогда рисовался негр; этот «негр» — «негр» Берлина, «негр» «новой» Европы; верней—образ смерти ее, ее рок.

Скоро всюду в Берлине вам вскроется «негр»; «негр» пробрался с высот дадаизированной культуры в мелкобуржуазную среду берлинских лавочников, хозяек сдаваемых комнат, содержателей пивных, кельнеров, которых здесь армии (из кельнеров кофеен, обслуживающих одну маленькую «Victoria-Luisen Platz», составилась бы по меньшей мере добрая полурота) и т. д.; здесь — ритмы фокстрота; и здесь — кокаин; и здесь — сладострастное ожидание реванша, заставляющее с надеждою обращать внимание «Sowjetrussland», на красную армию; и эти надежды одновременно переплетаются со страхом перед большевистской опасностью.

Тут попадаете вы в сферу заключения союзов между Германией и Советской Россией; о, кто из русских не заключал в Берлине этих «союзов» — десятки и десятки раз? Хотите или не хотите, но вас обязывают к заключению этих союзов в любой лавчонке, в которую вы заходите; вы спрашиваете себе карандаш, а вам его не отпускают сознательно; с вами затеивается разговор: вы его знаете наизусть: «Да вот подорожало все; прежде вот карандаш стоил столько-то, а теперь»...—«Да,—соглашаетесь вы,—дороговато»...— «Опять—марка упала».—«Упала»,—соглашаетесь вы.— «Уже перегнали Советскую Россию».—«Да».—«Когда же это кончится?» — «Да не знаю, право...» — «В Советской России-то теперь легче жить...» — «Легче», — соглашаетесь вы...» — «Напрасно мы воевали...» — «Напрасно...» — «Нам бы заключить союз»... Вы — молчите... — «В будущем мы будем работать вместе».— «Да, хорошо бы», — отделываетесь; и заранее знаете, что теперь выплывет главный пункт союза: «Мы расколотим Францию, мы вернем Эльзас; красная армия ведь сильна». И далее — вас заставят выслушать известную песенку «Deutschland über alles» И вы увидите утопию: восстание «прусского» кулака при помощи красноармейских штыков; окажется, что красная армия восстановлена при помощи немецких инструкторов; а «большевизм» — только так: для отвода глаз. Попробуйте усумниться вы в этом вздоре; и вы увидите рассерженное, подозрительно оглядывающее вас лицо: лицо фашиста, перекошенное одновременною яростью и по адресу Троцкого, и по адресу Пуанкаре. Эти печальнейшие «союзы» при покупке карандашей, бумаги, спичек и папирос расстраивали мне нервы в Берлине; сфера их распространения — сфера распространения европейского «негра» в мелкобуржуазной среде; интерес к вам, как к русскому, в той среде для

вас прямо обиден; сорвите вы маску с этой слащавой любезности, и вы услышите рычание дикаря; я однажды зашел покупать папиросы в пивную; сидел там противный и пьяный солдат; увидев меня, — зарычал он: «Вы, видно, высоковалютный иностранец». — «Напрасно вы думаете, — отвечал я ему, — я русский». «А, — обрадовался он случаю сорвать на мне его душащую злость,—мы вас разбили, поколотили!» «Дело не в том, кто кого колотит,—ему возразил я, —а в том, что и русские, и немцы суть одинаково люди». И тут я услышал воистину великолепный ответ: «Мы не люди, мы — немцы».

Но разве вся нынешняя буржуазная Франция не кричит всему миру своими поступками: «Мы не люди: французы мы». Это дикое животное в человеке себя распоясало; это умопостигаемый «негр», вошедший в Европу, поставивший всюду рогатки и требующий визы и удостоверения чуть ли не при каждом переезде из города в город; но «негр» распространяется и по Германии, заявляя, что он не человек, а «животное»; ритмы фокстротов, экзотика, дадаизм, трынтравизм и все прочие эстетико-философские явления отживающей культуры Европы лишь зори пожара обвала Европы, лишь шелест того, что в ближайших шагах выявит себя ревом животного.

«Варварский Дионис» поднимает уже свой топор каннибала из-под разорванного покрова буржуазной Европы; он охватывает не только Париж; он — в Берлине; его присутствие изменяет самую воздушную атмосферу Берлина; я не был в Берлине 7 лет, и за эти семь лет буржуазный Берлин побурел, стал «мулатом»; оползни вершин жизни культуры под действием вулканических сил завалили низины мещанства; и для того, чтобы пробиться к подлинно новым, живым струям жизни, надо спуститься куда-то;

пройти сквозь облокочный пласт; и оказаться у самых истоков революционной энергии.

Целый ряд месяцев прожил я в буржуазнейшем квартале Берлина; к весне я почувствовал, что более я не могу выносить этой жизни, беспомощно скатывающейся ко дну, но с такою убийственной медленностью, что было бы благодеянием для жизни Берлина, если бы в один прекрасный день здания вдруг обвалились бы, разрушился бы водопровод, электричество бы погасло, и жители поняли бы, наконец, что смерть наступила (революция в этом квартале ведь невозможна). Невозможно жить в атмосфере всеобщего разложения, среди хвостов, растущих, как фараоновы змеи, при меняльных лавках, среди бубнящих звуков фокстрота с аккомпанементом к нему в виде припева: «Der dollar steht hoch!»

Я бежал из Берлина и поселился в предместьи сонного городишки Цоссена, сняв себе комнату в бедном домике, населяемом наборщиками цоссеновской типографии. И тут я впервые увидел, чем немцы питаются, — не те немцы, которые заседают в кафэ Курфюрстендамма и заключают союз с русскими на почве Коперниканской теории круговращения земли, — нет: с иными я встретился немцами; с теми, которые с несокрушимой энергией месяцами, годами работают с утра до вечера, питаясь двумя картошками и ломтиком серого хлеба, слегка смазанного противной замазкою, называемой маслом. Тут я увидел другую Германию, живую и бодрую, но полную неукротимой ненависти к «Берлину», в котором я месяцами жил; тот Берлин — не Германия, а — секция черного интернационала Европы; «Помилуйте, — говорили рабочие мне,—весь вопрос о репарации с патриотическою шумихой есть вздор; наши враги не французы, а Стиннес с К°, которая бы давно могла заплатить репарацию,

но предпочитает хранить свои деньги в Лондонских банках». — «Слышали мы о хваленых иностранцах, приезжающих в Германию для того, чтобы выпивать ее последнюю кровь; все это патриотические крокодиловы слезы, проливаемые действительными «иностранцами»; и эти «иностранцы» — наши немецкие капиталисты, спекулирующие на народном бедствии». Так заявил мне другой рабочий, с которым я провел долгие вечера в маленькой пивной в день похорон Ратенау; настроение в те дни было до крайности возбужденное; и рабочие высказывались откровеннее, чем всегда.

С той поры я потерял охоту к пышным кафе, куда собираются интернациональные спекулянты и фокстротопоклонники; я отыскивал бедные уголки, где собирались рабочие; много вечеров просидел я в компании немецких рабочих, солдат и матросов (уже впоследствии, в Свинемюнде); в этой среде у меня образовались самые разнообразные друзья (были друзья и между контрабандистами); здесь я наталкивался часто на проявление живой мысли и подлинного революционного темперамента: но, должен заметить: необычайная выносливость немцев, некоторая большая буржуазность в их жизни, в их навыках, замедляет процесс полевения масс. И все-таки, опыт беседы с рабочими и матросами в период 1922 — 23 годов мне указывает на разительный рост революционного настроения за этот период.

Но это — тема огромной статьи, не вмещаемой в пространство малого очерка, схватывающего лишь внешний облик одного из центров современной Европы. Моя задача зарисовать здесь лишь «царство теней», а не царство будущего, медленно выпирающее на поверхность под действием вулканических сил революции, уже явственно ощутимой в Берлине к моменту моего отъезда из него (в октябре 23 года).

МОСКВА И БЕРЛИН.

Несколько месяцев, как вступил на московскую почву я, кровный москвич, здесь проведший почти что всю жизнь, здесь проделавший путь революции, видевший образы послереволюционной разрухи; да, я никогда еще не был так ярко наполнен Москвою, как ныне.

Бывали периоды, — я не живал в Москве годы; и я возвращался — к друзьям, не к Москве; таковой у меня и не было; не замечал ее я, и какой ее покидал я — такой возвращалась она мне, минуя почти поле зрения и образуя естественный, неизменяемый фон встреч с людьми; не менялась разительно: теми же улицами циркулировали те же люди; мое предпоследнее расставание с Москвой обнимало года с 1912 по 1916 г.г.; я покинул реакцию довоенного времени, а вернулся в те дни, когда все излучало энергию накопления революции, но Москва оставалась Москвою: разительной встречи с ней не было.

Ныне покинул Москву в октябре 1921 г.; труднейшее время уже изживалось; два года провел я в Германии; вернулся в Москву ли? Она изменилася, встречи с друзьями — большая мне радость; но большая — встреча с Москвой, с ее ликом, особым, слагавшимся в революционные годы, но ныне лишь явленным ярко.

Напрашиваются параллели: с Москвой прошлых лет; и — с Берлином; Берлин и Москва революцию видели; кризисом прошлого должен был чужестранцев встречать многошумный Берлин; но, попавши в Берлин, я увидел все тот же Берлин; Берлин прошлый; трамваи там бегали так же; и так же гремел под землей Untergrund; и выплевывал суетливые толпы опрятно оде-

тых дельцов в котелках и с портфелями; те же магазины сияли на прежних местах: и Вертгеймы и Тицы; и Leipzigerplatz суетилась все той же волною людскою; над ней поднимал свою белую палочку полицейский, как прежде (в иной только форме); и — те же костюмы (немного скромнее, чем прежде), и те же огни (их поменьше), и лица такие же (разве бледней, озабоченней), и чистота (чуть грязней все же стало в сравнении с прежним); как будто бы старый Берлин; и как будто бы не было здесь революции; после расхлябанной и зияющей пустырями Москвы — вид культурный, приятный и легкий; хотелось первые дни восхищаться порядком, опрятностью и легкомыслием жизни, просиживать вечерами в кафе и под звуки «джазбанда» [1]) бессмысленно созерцать прохождение танцующих пар ритмом джимми, бостона, фокстрота и танго. Благополучный Берлин мне казался контрастом московскаго неблагополучия лиц и улиц, свой вид изменивших, являя все тех же людей, те же формы, кафе, очень ведомые по прошлым приездам.

Но с первого месяца понял я: все это — то, да не то; старый быт опрокинут, разбит, но разбит не по-нашему; он сохранился как внешность, но он разбит в немце; и часто с разбитием уклада того в самом немце, разбит средний немец в какой-то центральнейшей точке жизни, откуда творил он когда-то на удивление мира культуру свою; той культуры в нем нет уже; повисает на нем, как последняя им донашиваемая одежда, которую пора сбросить, которую он не решается сбросить; уверенность современного немца не в нем, а в покрое костюма, в который зашит он; из-под покроя просунулись хаос растерянности, недо-

[1]) Особый инструмент, являющий собой набор барабанов, дощечек, звонков и т. п.

уменье, испуг и незнанье, что делать с собою; вид города — тоже покрой; под покроем смятение, заставляющее скосить око на Керзонов «Англия-де не допустит» (она — допустила) другим устремиться к востоку: «Russland поможет... Die rote Armee». Но с надеждой на rote Armee современный берлинский делец, пересекающий Leipzigerstrasse с портфелем, с сигарой во рту, — соединяет бессмысленные мечтания о реванше, не изжитые, увы: он не знает и сам, чего хочет; не выстрадал новых он творческих дум, не терял он всего, чтобы все приобресть по-иному, как русский, разгуливавший по разгромленным тротуарам Москвы, почти в рубище, без покроя, почти без покровов, но с крепкой душой, закаленной страданьем, с надеждой взирающей на всходящую жизнь. Революция здесь совершилась. В Берлине, — была ли она?

Характернейший штрих: мне рассказывали, что во время обстрелов берлинских кварталов обстреливающие и обстреливаемые старательно обходили газоны: ходить по газонам — «verboten»; «verboten», — вот то, что висит над душою Берлина: «verboten» касается нового творчества жизни и мира сознанья: дорожки, проспекты, костюмы и вывески — в полной сохранности: старой дорожкой проходит берлинский делец, направляющий жизнью; и революция не всколыхнула его; революцию принял он, как удобное перемещение позиций, из тактики, — не из души; оттого-то он медленно гибнет теперь; оттого-то с ним гибнет Берлин.

Да, берлинец, вершащий когда-то судьбы своей нации, гибнет голодною смертью под старым покроем; да, то, с чем в Советской России покончено одним духом, стремительно, бесповоротно, — неукоснительно вводит гибель в Берлин; в самом воздухе города носится смерть; и порою хотелось воскликнуть: «Скорее, скорей бы!» Казалось: пристойный вид города —

внешнее выражение столбняка, переходящего в смерть без трагедии и в разложенье без подвига.

В жизни недавней Москвы был толчок, от которого повалилися здания; но и — выперли новые недра системой хребтов; изменился рельеф жизни города; жизнь не угасла: Берлин же без всякого изменения рельефа, нетронутый, в представлении моем опускался года в сумрак Тартара; часто казалось, что полные людом берлинские улицы, — улицы Тартара; жизнь теневая там; блеск электричества — фосфоресценция разложенья. Москва из Берлина казалась всклокоченным, развороченным городом, пережившим огромную встряску рождения новых критериев; а под пристойным покровом непотрясенного взрывом Берлина мне месяцами ощущалася перманентная еле заметная дрожь, заставляющая месяцами берлинца мучительно вздрагивать в ожиданьи решительного удара; томление грозовое без разрешенья — ужасно в Берлине; то — лейтмотив города, явно звучащий и заглушаемый звуками бесконечных томбол; о, нет, лучше свалиться, чтобы умереть, иль воскреснуть вполне обновленным, чем годы без жара и бреда захиревать в бледной немочи, все же в итоге ведущей к могиле; и эта могила Берлина — боязнь потрясенья сознания, быта, форм жизни, и — да: обыватель Москвы плюхнул сразу на дно; это дно оказалось трамплином прыжка к достигаемым строимым формам сознания, быта и жизни; берлинец организованно, в месяцах, соблюдая все внешние формы, садился на дно; и так медленно, что казалось: когда, наконец, он усядется, то он воссядет на дне этом прочно. Те мысли меня посещали два года; в благообразии города видел я организованный спуск — прямо в Тартар; цивилизованный вид Берлина стал тошен; я понял: сиденье в кафе, увлеченье фокстротом, насильственное опьянение Достоевским, «Natascha»

и шнапсами — есть уход от себя и от нормы; иные берлинцы себе прививают безумие пошлое, мелкое, чтобы не глядеть в подступающее безумие революционной грозы. Под приличною старою формой Берлина стал чуяться мне дикий хаос действительного разложения и смерти; и в запахе тления я задыхался; тоска и отчаянье — не личное, не мое — охватило меня; Берлин — влит в мою душу, ко мне присосавшись, как спрут; из него я бежал.

И вот — первое впечатленье от Советской России...

Граница: художественная продуманная форма солдат пограничных, их выправка, несуетливый порядок в свершеньи формальностей; все импонировало, интересовало, казалося новым; вот — Себеж; и — объясненье с чинами из Г.П.У., отказывающимися просмотреть мои книги по списку: «Отправьте их в таможню: здесь же нам некогда». Спутанные, но вполне добродушные предложения мне таможенных чиновников: «Вы поступите — вот так-то. — «Нет, так-то...» И спор между ними по этому поводу. «Слушайте, товарищи, тут мне дали четыре различных совета: которому ж следовать?» Был я немного смущен, но мне было не грустно, а весело; чувствовалась под ногами какая-то твердая почва; и мы — перешучивались, что, мол, вот: неизвестно, что делать.

Поехали: станции; и — босоногие люди на станциях; многие в чорт знает что облекали тела свои; после Берлина та дикая пестрость порой очень ветхих одежд поражала меня; это — все, точно нищие; но какое-то странное выражение лиц, выражение глаз по сравнению с берлинской, прилизанной публикой; там выражение хмурой работы в бегающих тускловатых, растерянных глазках, всеобщее унылое выражение, не допускающее появление фигур; здесь, на станциях, — за фигурой фигура; здесь все — индивидуумы; там

глаза — неживые; здесь острость, пронзительность и осмысленность взора, определенная уверенность в поступи; ноги, порою босые, спокойно внедряются в дождиком размываемую глину; вот этот вот, в ветхой одежде, в потертой, оборванной малой шапчонке спокойно, уверенно входит, спокойно садится за стол рядом с «избранной», разодетою, заграничною публикой, не обращая внимания на нее, очень твердо, уверенно требует стакан чая, и, наклонившись ко мне, преспокойно, с достоинством прикуривает от моей папиросы; в глазах — та же осмысленность; и ощущается обладатель чего-то такого, чего не хватает берлинцу; тот — выбрит, культурно одет (в котелке и с сигарой во рту), а в лице неуверенность: помесь злости и робости по отношению ко мне, иностранцу; меня он боится в стране у себя; и оттого-то, боясь, ненавидит; а этот молодчик в опорках, спокойно сидящий со мной, иностранцем по виду, за столиком, — нет, не боится меня; и оттого-то без всякой предвзятости вступит со мной в разговор он; да, этого не опрокинут толчки и удары судьбы, пред которой робеет берлинец; хоть двадцать толчков, — этот серый крестьянин, с таким независимым видом идущий к вагону, их вынесет: все-таки сядет в вагон и доедет до места, куда взял билет; там проделает что-то; и снова вернется к себе — во-свояси...

На остановке мой спутник дорожный вытаскивает аппарат, собираясь снять меня; к нам подходит дежурный солдат, предупреждая нас вежливо: «В поезде запрещаются снимки»... «Послушайте, я снимаю не местность; позвольте наставить мне аппарат, — вот сюда»... «Ну, уж ладно: снимайте»... Меж нами завязывается разговор: и солдат, очевидно играющий роль былого жандарма, осмысленно и с живым интересом расспрашивает про Берлин: «Ну, как там?

Революция будет?» Мы разговариваемся... Звонок: мы прощаемся. У солдата все та же уверенность; и все те же живые глаза; я в Берлине не видел их.

Гордые, крепкие, свежие лица: живые глаза.

И в Москве — то же самое.

Я все первые дни по приезде в Москву проводил на московских, совсем не блистающих чистотой тротуарах, кой-где исковыренных и кой-где починенных, впивая глазами в себя москвичей; ощущение бодрости, твердой почвы, уверенности — и движений, и поз, контрастирующих с неказистой порою одеждой (опять по сравнению с Берлином); уверенность появилась теперь: в 21 году ее не было; и перепуганный взгляд исподлобья пропал; всюду взоры — прямые, открытые: головы как-то закидывать стали: не гнут их; пропала угрюмость и пустота серых улиц; они — переполнены; и они — так пестры от цветных новых вывесок и от продуктов, глядящих из окон; пропала унылого серого цвета шинель; и — кипящее, суетливое пробегание, промелькание пролеток, фырчанье авто; да, такого движения не было в годы войны, до войны; поредела и серого цвета шинель в пестроте азиатской одежды; ее заменила опрятная и художественно-изящная форма красноармейца; приглядываясь, отмечаешь: как много достигнуто в смысле опрятности и порядка; в трамваях — порядок, конечно же, больший, чем в сером Берлине; вокзалы — чисты: чистотою своею поражают кафе и пивные; не видно огромных, в Берлине обычных, хвостов перед лавками.

Уверенность и присутствие твердой почвы — вот первое впечатление от Москвы; этой почвы в Берлине нет вовсе: царит неуверенность; темп разговоров московских на улице — быстрый; и меткое, четкое слово отрывисто пересекает пространство по всем направлениям; в Берлине слова, выражения, при-

баутки — пошлы, обыденны, всеобщи, неубедительны, стары; в Москве речь — ядреная, индивидуальная, брызжащая умом и здоровьем; московская улица много умнее берлинской.

Вот — я на Арбате: два года назад он был грязен, запущен, серея облупленными стенами без вывесок: ныне — ряд вывесок новых; в Берлине все вывески старые, за исключением новых русских (аптека «Феррейн», на Mezstrasse, а вот ресторан «Оливье», русский — там же); Москва изжила уже два облика улиц, хотя бы Арбат; был когда-то он вывесками сияющей улицей; после лупились без вывесок стены его; теперь вновь: ряды вывесок; новые — все: где под черною с золотом вывеской богател Шафоростова колониальный магазин, синеет огромною вывескою «Цекубу»; где ютился Горщков, там — пивная: перемещенья повсюду; кой-где лишь знакомые имена: «Оптик Громов» иль «Брабец».

Сдвиг был: он сломал все устои, сорвал он безжалостно старые вывески, глыбами нагромоздив их стремительно, бесповоротно, чтобы из хаоса этих развалин вновь выявить вывески, оповещающие о восстании новой жизни; так зелень весенняя после грозы выпирает: метаморфозы такой нет в Берлине; и — да: динамизм ему чужд; он — статичен; поэтому — рухнет он; жизнь меж берлинских домов, — это жизнь под лавиной, которая все же когда-то сорвется; а жизнь Москвы — таяние уже когда-то упавшей лавины, явление внешней жизни под ней; этим веянием бессознательно живы; и ходят — уверенно, бодро, самостоятельно, критикуя, оспаривая друг друга, не видя наглядно огромного достижения работы, здесь бывшей; и все ж испаряя уверенность в линии восходящей; не ходят — куда-то восходят в Москве; а берлинец совсем не восходит, не ходит, — нисходит; и нисхо-

ждение это (подумайте — миллионов), переполняет Берлин атмосферою царства теней и подземными, душными, ядовитыми газами.

И то же подметил я в сфере утонченных интересов культуры: какое обилье кружков! Так, едва я попал сюда, как со всех сторон слышу: «Сюда собираются молодые ученые заниматься лингвистикой»... «Там изучают проблемы культуры»... «Вот этот вот собирает огромнейший материал по истории гностицизма»... «А тот написал биографию философа Соловьева»... Очень много в Берлине писалось про НЭП; им пугали меня; о кружках, изучающих литературу, культуру, признаться, я что-то не слышал; о них в эмигрантской печати не пишут, — не потому ли, что русский — Берлин так убийственно беден; да, там собираются — играть в карты, или просиживать вечера совершенно беспочвенно в мутных, душных кафэ; там работа клеится в вялом, унылом, неврастеническом воздухе вялого города, обреченного медленно опускаться на дно.

Мое первое впечатление от Москвы — впечатление источника жизни; и первый глоток этой жизни есть радость себя ощущать не в унылом, чужом, упадающем городе, а в кипящей, творящей, немного нелепой и пестрой сумятице, чувствуя, что сумятица — творческая лаборатория будущих, может быть, в мире невиданных форм.

Март 1924 года. Москва.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

с. 44 -
с. 47 - Европа
с. 69 -
с. 67 - Р-ция в Германии
с. 68 - Р-ция в России
с. 72 73 -